НЕИЗВЕСТНАЯ ЧЕРНАЯ КНИГА

МАТЕРИАЛЫ
К «ЧЕРНОЙ КНИГЕ»
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА
И ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

Неизвестная «Черная книга»

«Corpus (АСТ)»
1993, 2015

Неизвестная «Черная книга» / «Corpus (АСТ)», 1993, 2015

В 1947 году в Москве должна была выйти из печати «Черная книга» – уникальный сборник документов и рассказов о Холокосте, подготовленный известнейшими советскими литераторами и журналистами (Маргаритой Алигер, Вениамином Кавериным, Рувимом Фраерманом, Виктором Шкловским и другими) под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. Однако этого не случилось: по политическим причинам публикация была запрещена, набор «Черной книги» рассыпан, гранки и рукопись изъяты, а многие из тех, кто работал над книгой, репрессированы.Настоящее издание включает воспоминания, письма и дневники, собранные в 40-х годах редакторами «Черной книги» и по разным причинам не включенные в ее окончательный текст либо использованные частично.

, 1993, 2015
© Corpus (АСТ), 1993, 2015

Содержание

Предисловие 6
От составителя 7
Украина 11
Киев 11
Жизнь в оккупированном Киеве 11
Список еврейской интеллигенции, погибшей в Бабьем Яру (со своими семьями) 15
Пришелец с того света 16
Как я спаслась от Гитлера 20
Города и местечки Украины 37
Мальчик из Бердичева 37
У могилы родных 37
Местные петлюровцы перебили всех евреев 40
В местечке Пятигоры Киевской области 41
В городе Шпола и его окрестностях 52
В Умани 53
Что я пережил в фашистском плену 58
Рассказ партизанки Раисы Дудник, спасшейся из Умани 59
Мама, спасай меня! 61
Бегство двадцати пяти еврейских девушек из Тульчинского гетто. 63
Восточная Украина 66
Рассказ спасшегося из Харьковского гетто 66
Страницы из Данте 68
Гибель евреев Харькова 70
Танки давили людей 73
Братская могила десяти сирот в степи 74
Уничтожение евреев Мариуполя 75
Конец ознакомительного фрагмента. 76

Неизвестная «Черная книга» сост. Илья Альтман

© А. Гельман, предисловие, 2015
© И. Альтман, составление, примечания, биографии авторов очерков и свидетельств, текст от составителя, 1993, 2015
© Ш. Краковский, составление, 1993
© И. Лемпертас, примечания, 2015
© Г. Смирин, примечания, 2015
© Государственный архив Российской Федерации, архивные материалы
© Национальный институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления «Яд ва-Шем», архивные материалы
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Издательство CORPUS ®

* * *

Предисловие

Я читал эту книгу, страницу за страницей, от начала до конца без перерыва. Семилетним мальчиком, вместе с родителями я находился в гетто, потерял почти всех близких, но никогда не испытывал такого глубокого отчаяния, такого буквально библейского чувства скорби, как во время и после чтения этой книги свидетельств Катастрофы. Спасшиеся, чудом выжившие рассказывают, как это было – и я читал и содрогался от ужаса, читал и своими словами, на русском языке молился Всевышнему, просил Его, требовал от Него дать клятву, что Он никогда больше подобного человеконенавистничества не допустит. Надеюсь, Он простит мне эту наглость.

Десятки тысяч людей в течение почти десяти лет по всей Европе были заняты этой работой: убивали евреев. Это были не только немцы. После работы они приходили домой, целовали детей, помогали женам по хозяйству, занимались любовью. Я нигде не читал, чтобы хоть один палач сошел с ума. Если бы их не остановили, они убили бы не шесть миллионов, а всех, всех до единого. Осталось бы только слово – «еврей». Выжившие узники концлагерей и гетто никогда не забудут своих освободителей – бойцов и офицеров Красной Армии.

Самое страшное, что до войны, развязанной Гитлером, большинство из тех, кто прямо или косвенно оказался причастен к «окончательному решению еврейского вопроса», были обыкновенные, нормальные люди. Когда вдумаешься в это, невозможно без тревоги смотреть в будущее. Мы уже никогда не будем уверены, что подобное не повторится. Несмотря на клятвы и молитвы.

Чувство тревоги вызывает и сама история этой книги. Она была готова к печати и частично набрана семьдесят лет назад, сразу после войны, но лишь сейчас опубликована в России. Сначала фашисты убили евреев, потом вожди СССР убили память об убиенных. Если бы «Черная книга» была опубликована семьдесят лет назад, если бы все эти годы она присутствовала в каждой библиотеке, в каждой школе, если бы чтение «Черной книги» входило в программу по современной истории, то сегодня мы, может быть, не встречали бы в городах России толпы молодых людей, празднующих день рождения Адольфа Гитлера.

Я пишу эти заметки накануне великого еврейского праздника освобождения – Песах. В праздничные дни, следуя издревле сложившейся традиции, каждый еврей настраивает свою душу, свое воображение таким образом, чтобы ощутить себя одним из тех, кого Всевышний под предводительством Моисея вывел из египетского рабства. Хотелось бы, чтобы в день скорби по погибшим в Катастрофе не только евреи, но и человек любой национальности хотя бы на несколько минут ощутил себя в одной из колонн, шедших в газовые камеры. Один за другим входили люди в небольшое здание, а выходили оттуда через трубу на крыше в виде белесого кудрявого дыма. Заходили люди – выходил дым. Фабрики по переработке людей в дым исправно работали несколько лет…

Слава богу, «Черная книга», книга скорбных свидетельств Катастрофы, будет, наконец, прочитана в России. Лучше поздно, чем никогда.

Александр Гельман

От составителя

Сборник «Неизвестная «Черная книга» – продолжение «Черной книги» под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга.

Многочисленные первоисточники (воспоминания, свидетельства, письма, дневники), собранные в 1942–1947 годах в Еврейском антифашистском комитете в СССР (ЕАК), лишь частично вошли в состав «канонической» «Черной книги». Они включались в состав литературных очерков, подготовленных известными советскими литераторами и журналистами, либо публиковались с существенными сокращениями и исправлениями. В результате одни ценнейшие свидетельства современников остались за рамками «Черной книги», а иные были использованы лишь фрагментарно.

Значительное влияние на отбор материалов для «Черной книги» оказали идеологические мотивы. Из текста исключались важные детали, указывающие на случаи отказа советского населения помогать евреям, их выдачи оккупантам и прямого участия в расправе.

После выхода Румынии из войны в августе 1944 года был минимизирован отбор свидетельств о преступлениях румынских оккупантов. Не были включены в «Черную книгу» сведения о судьбе венгерских евреев, оказавшихся на Восточном фронте в составе трудовых батальонов.

Некоторые свидетельства поступили в ЕАК уже после подготовки соответствующих литературных очерков и поэтому остались неиспользованными. Другие были «забракованы» Литературной комиссией, готовившей к печати «Черную книгу», – чаще всего как не подходящие по жанру.

Поэтому жизнь и судьба евреев на оккупированной территории СССР не могли быть всесторонне отражены в «Черной книге», главными целями которой были показ злодеяний (прежде всего гитлеровцев) и помощь евреям со стороны людей других национальностей.

Еще в годы войны выдвигалась идея издать два тома «Черной книги»: второй том состоял бы из документов и свидетельств. Именно этот подход и был реализован в 1993 году в виде сборника, подготовленного научными сотрудниками Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ, Москва) и Национального института памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления («Яд ва-Шем», Иерусалим)[1].

«Неизвестная «Черная книга» содержит воспоминания жертв и очевидцев Холокоста. Эти материалы были получены в результате переписки с авторами членов ЕАК и руководителей Литературной комиссии, прежде всего И. Г. Эренбурга, либо записаны путем стенографирования (опроса) в Москве и на месте событий. Среди тех, кто фиксировал эти рассказы – офицеры и солдаты Красной Армии, журналисты фронтовых и местных газет, корреспонденты издававшейся на идише газеты «Эйникайт» («Единение»), печатного органа ЕАК, а также родственники погибших и бывшие узники гетто. В ряде случаев информаторы ЕАК пересылали эти свидетельства в форме статей, рассчитывая на их публикацию либо непосредственно в «Черной книге», либо в газете «Эйникайт» (откуда материалы также передавали редакторам «Черной книги»).

При отборе материалов для настоящего издания в первую очередь учитывалось их авторство: в большинстве случаев авторы – непосредственные свидетели и участники событий. Другой критерий – видовой. Мы отбирали, как правило, письма, дневники, свидетель-

[1] *Неизвестная «Черная книга»* / Сост. И. Альтман и Ш. Краковский. Под ред. И. Арада и Т. Павловой. Иерусалим – Москва: Текст, 1993. Переиздана в 2005 и 2008 гг. соответственно на венгерском и английском (в США) языках. Отбор документов для издания 1993 г. произведен И. Альтманом при участии д-ра Шмуэля Краковского, возглавлявшего тогда архив «Яд ва-Шем». Текст первого издания (включая примечания) готовила к печати Наталья Зейфман при участии Мери Гинзбург («Яд ва-Шем»).

ства, написанные или зафиксированные в годы войны. Опосредованные источники (чаще всего газетные корреспонденции с цитированием или пересказом свидетельств и указанием на их авторство) привлекались, как правило, тогда, когда они содержали сведения о судьбе евреев в населенных пунктах, о которых не говорилось в «Черной книге».

В основу сборника легла коллекция документов, хранящихся в фонде ЕАК в ГА РФ[2]. При подготовке издания привлекались также документы из личного фонда Ильи Эренбурга в архиве «Яд ва-Шем»[3]. Подлинники показаний немецких военнопленных и свидетельства очевидцев хранятся в фонде Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников (ЧГК)[4].

Тексты опубликованных в 1993 году документов заново сверены с материалами указанных фондов. Это позволило восстановить ряд вычеркнутых при перепечатке и редактуре фрагментов. Были уточнены номера дел в архиве И. Г. Эренбурга.

Структура сборника в основном соответствует структуре «Черной книги»: в отличие от издания 1993 года, уточнена последовательность материалов по республикам СССР в соответствии с ее текстом. Документы и очерки расположены по географическому принципу (учтены границы административно-территориального деления СССР на начало Великой Отечественной войны). Это касается и раздела «РСФСР», который в настоящем издании, как и в «Черной книге», включает документы о Крыме. Сюда же помещены документы о Любавичах (ранее входили в раздел «Белоруссия»).

Выделены отсутствовавшие в предыдущих изданиях разделы «Эстония», «Спасение» (аналог раздела «Черной книги» под названием «Советские люди едины») и «Убийство иностранных евреев на территории СССР» (поскольку в тексте есть свидетельства о судьбах венгерских жертв Холокоста). Сохранены подразделы «Киев» и «Одесса и Транснистрия» (в последнем изменена последовательность расположения материала). Для удобства читателя выделены подразделы «В городах и местечках Центральной Украины», «Восточная Украина» (вместо «Харьков» – включает Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую область), «Западная Украина» (вместо «Львов»).

Эти изменения, на наш взгляд, позволяют более последовательно изложить хронологию и географию событий.

Публикуемые свидетельства присутствуют в фонде ЕАК, как правило, в виде машинописных копий. Оригиналы писем и дневников перепечатывались в Литературной комиссии и передавались писателям, работавшим над очерками о соответствующих регионах. Видимо, подлинники также иногда оказывались у авторов очерков, и далеко не все они были возвращены ЕАК. Многие корреспонденты «Черной книги» просили вернуть дорогие им реликвии, что и было сделано. Однако некоторые оригиналы документов оказались в архиве «Яд ва-Шем» в фонде первого редактора «Черной книги» И. Г. Эренбурга и теперь сверены с машинописными копиями.

Сохранены, как правило, авторские заголовки машинописных материалов, предназначавшихся для публикации в «Черной книге». Указаны: вид публикуемого документа, автор (по возможности, с указанием имени, отчества, профессии), место событий, источники информации, дата составления. Если представлялось возможным датировать текст по содержанию либо на основе первоисточника, дата указывается в квадратных скобках.

Оговорены также случаи, когда публикуемые первоначальные тексты свидетельств были записаны в ЕАК или его корреспондентами. Если информация поступала в ЕАК как обобщенный рассказ ряда свидетелей, указывалась фамилия того, кто готовил эти материалы

[2] ГА РФ, ф. 8114, оп. 1, д. 940–967.

[3] Архив «Яд ва-Шем», ф. Р. 21.

[4] ГА РФ, ф. 7021, оп. 69, д. 342.

для «Черной книги». Когда автор записи рассказа или обзора не был указан в документах, но установлен по косвенным источникам, его фамилия приводится в квадратных скобках. Сведения, дополняющие или уточняющие издание 1993 года, также даются в квадратных скобках, но с выделением курсивом.

Указаны свидетельства, которые в сокращенном или измененном виде были использованы в «Черной книге» (Израиля Адесмана, Сарры Глейх, Евсея Гопштейна, Михаила Гричаника, Анны Моргулис, Льва Рожецкого, Хаима Ройтмана, Людмилы Слипченко).

При публикации документов, оригиналы которых были написаны на идише, как правило, указаны авторы переводов. Имеются также указания на подлинность (копийность) и язык (кроме русского) публикуемых документов. Полное указание архивных шифров (включая номера фондов и описей) документов ГА РФ и «Яд ва-Шем» даны при публикации первого из них.

При передаче текста сохранен авторский стиль и особенности первоисточника. Документы публикуются, как правило, полностью. Все сокращения, сделанные при подготовке издания, указаны отточиями в квадратных скобках. Авторские отточия не оговариваются. Без комментариев исправлялись явные описки. Все неразобранные части текста (ввиду плохой сохранности, прежде всего рукописных свидетельств) оговорены.

В ряде случаев восстановлены (на основе фонда Эренбурга) или уточнены заголовки документов: «Письмо Иохима Шенфельда»; авторское название документа «Давид и Надя» (в издании 1993 года – «Он мой муж. Письма Надежды Терещенко»). Скорректирована датировка текстов: письма Б. Бронфин из Хмельника, материала Л. Лагина, свидетельства Л. М. Слипченко (Козман), письма А. Розена, очерка «Город Новозыбков». Указаны источники информации либо корреспонденты авторов и редакторов «Черной книги», вид документа: свидетельство С. Шенфельда о Яновском лагере; биографические данные С. Грутмана, П. Зозули, Р. Л. Зеленковой; инициал отчества адресата в письме Ольги Супрун; имя и фамилия автора свидетельства в записи Н. Г. Кона.

Уточнены даты жизни В. Куторги; адресат в очерке «Город Новозыбков»; географические названия (Ашевский район Калининской области); фамилии (Гильман в «Гибель моего отца») и т. п.

Вставки фрагментов текстов на основе рукописных первоисточников («Страницы из Данте. Из дневника жительницы Харькова Н. Ф. Белоножко», «Дневник Сарры Глейх», «Гибель моего отца», «Рассказ бухгалтера Юровского», письмо А. Розена) даны в квадратных скобках либо цитируются в примечаниях.

На основе новейшей исторической литературы существенно переработаны примечания и комментарии. Уточнялись прежде всего упоминаемые даты и факты, а также статистические данные; приводятся биографические данные об авторах или упоминаемых лицах. Они подготовлены, в частности, по материалам энциклопедии «Холокост на территории СССР» (М.: РОССПЭН, 2011).

Некоторые уточнения нам удалось получить в результате встреч и переписки с авторами сообщений (Сарра Глейх), упоминаемыми в тексте лицами (Л. Е. Калика, В. Дудник, Б. А. Розенфельдом), родственниками авторов очерков (Н. Л. Железновой и Л. Д. Стоновым).

Для настоящего издания отбор материалов и уточнение структуры сборника, сверка документов и подготовка списка авторов свидетельств и корреспонденций (он отсутствовал в издании 1993 года), а также ряда комментариев проведены составителем. Примечания в разделе «Латвия» подготовлены при участии рижского историка Григория Смирина, в разделе «Литва» – при участии историка Ильи Лемпертаса. Отдельные факты уточнены директором Музея Холокоста (Харьков) Ларисой Воловик и заместителем директора Института иудаики (Киев) Юлией Смилянской.

Илья Альтман

Украина

Киев

Жизнь в оккупированном Киеве
Воспоминания И. С. Белозовской

[5]

Говорить о причине – почему я оставалась в оккупированном Киеве – трудно, а может быть, излишне. Прежде, до оккупации – это была общая причина, теперь она является ничтожной и незначительной. Все не верилось, что этот кошмар наступит, мы, как утопающие, хватающиеся за соломинку, жадно ловили по радио: «Киев никогда не будет сдан», верили и надеялись… 17 сентября 1941 года, когда наши войска в массовом характере начали отступать, гул преследующих немецких снарядов, огонь и дым от горевших зданий все еще меня целиком не убедили, что наступил крах, что прекращается жизнь. Слово «жизнь» тогда имело свое значение. Впоследствии это значение притупилось.

Слишком часто или даже постоянно она была близка к смерти и потому потеряла свою обычную окраску.

19 сентября, когда немцы начали заходить в город и когда по обе стороны тротуаров (по Красноармейской, возле Владимирского базара) стояли люди с льстиво-радостными, подобострастно-угодливыми лицами, встречая «освободителей» своих – немцев, которые несли им «большую жизнь», тогда я уже чувствовала, что жизнь от нас уходит, наступает мучение. Мы все были в мышеловке. Куда деться? Пути все были закрыты.

Я ушла на Подол к своему пятилетнему сыну, который был у родных мужа. Мои родные: две младшие сестры с тремя детьми – у одной двое – пять с половиной и три с половиной года, мальчики, у другой один – три с половиной года. Мать и отец мотались из одной квартиры в другую, то у сестры на улице Гершуни[6], то в моей квартире на Тверской, 13. Муж мой был с ними на Тверской. Они сидели вокруг него, им казалось, что он их спасет от неминуемого (он русский)[7].

Через несколько дней отец мой вышел зачем-то на улицу и не вернулся – начали уже ловить на улице мужчин-евреев, будто бы на работу. На следующий день, когда был издан приказ о сконцентрировании евреев всех в один пункт для отправки куда-то, сестры моего мужа пошли и забрали его силой к себе, они боялись за его жизнь. Можно себе представить картину, когда мои сестры, трое маленьких мальчиков, мать (отца уже не было) громким плачем молили о спасении моего мужа: от них уходила последняя соломинка, и он ничем не мог им помочь. Он ушел на Подол. Когда он пришел, и мне тоже казалось, что от них ушло последнее спасение… Наступила кошмарная, неизвестная смерть. Я в древнем веке не жила и в нашем веке не видела, что люди делали в глубоком неисходном горе. Но меня потянуло

---

[5] ГА РФ, ф. 8114, оп. 1, д. 965, лл. 68–75 (далее указываются только номера дел и листов). Машинопись. – *Илья Альтман* (далее – *И. А.*).

[6] Ныне ул. Олеся Гончара. – *И. А.*

[7] Александр Андреевич Агеев (1910–1990), его родители и сестра Елизавета в 1996 г. удостоены израильского почетного звания «Праведник народов мира» за спасение Иды Белозовской и ее сына Игоря. Семья Агеевых спасла также двух сестер И. Белозовской Розу и Добу, упомянутых в тексте. Игорь Агеев (р. 1936) живет в Киеве. См.: *Бабий Яр. Спасители и спасенные*. Киев, 2005. С. 19–20. – *И. А.*

к земле, сесть на низком табурете, я ярко ощутила желание посыпать пеплом голову, всю себя, ничего не слышать, превратиться в прах… Но нет, я была жива, я даже в состоянии была слышать и отметить, что люди живут вокруг меня, что они имеют *право на жизнь*, и почему, почему часть людей, которые имеют несчастье быть другой нации, должны умереть насильственной смертью – дети, невинные, маленькие, не знающие, за что, не понимающие, что такое жизнь и что такое смерть? Почему мой ребенок, у которого отец русский, имеет своих защитников на жизнь?

28 сентября мой муж и его сестра, русская, пошли провожать моих несчастных в дальний путь. Им казалось, и мы все хотели верить, что немцы-варвары вышлют их, и четыре, пять дней подряд люди двигались целыми вереницами к «спасению». Не успевали всех принять, велели приходить на следующий день (не перегружали себя работой). И так люди приходили по нескольку дней, и их все не успевали отправить на тот свет, пока их очередь наконец-то приходила. Мой муж недалеко от места общего приема – исторического Бабьего Яра – оставил моих родных, сам ушел посмотреть все-таки, как принимают людей. И увидел: за высоким забором (щелочка была) сортируют – мужчин в одну сторону, женщин, детей отдельно. Голые (вещи отнимались в другое место), из автоматов и пулеметов их укладывают, крики и вой ужаса заглушались.

Муж вернулся к моим сестрам и матери и сказал: «Уходите куда глаза глядят». Что там было и как все произошло, не знаю, но он вернулся на Подол к своим родным, где я была с нашим сыном, и привел троих маленьких мальчиков обреченных. Ему казалось, что он их спасет. Мать его сказала, чтоб мы все ушли, так как всех спасти нет никакой возможности и будет только то, что всех расстреляют. Я не имела права их обвинять, ведь отец и мать, сестры мужа имели право на жизнь, и они тоже хотели жить…

Дети прибыли, остались-таки со мной еще шесть дней, на шесть дней продлили им жизнь. Все эти шесть дней они не отходили от меня, держась по обе стороны за мое платье, они не играли, их ничто не занимало. Они смотрели большими невинными глазами, не понимающими, что такое жизнь и что такое смерть, и спрашивали: «Тетя Ида, но скажите, мама ведь придет, придет, скажите! Когда она придет?» Молча глаза наполнялись слезами, придушенно плакали. Громко нельзя было плакать, люди могли услышать, и это была гибель для всех. Я не плакала, автоматически двигалась, как деревянная, успокаивала, уговаривала, что вот, все кончится и мама их придет.

Мысли кошмарные роились, почему мой ребенок имеет право жить наполовину. Я могу пока жить, потому что хотят сохранить мать для моего сына Игоря и их внука, и меня, взрослого человека, легче укрыть. Чем же виноваты эти непонимающие дети, где взять для них жизнь? Муж ходил ко всем нашим знакомым – русским, кому можно было говорить, умолял о спасении хотя бы одного ребенка, но поиски были тщетны, все боялись за свою жизнь. Пришла ко мне (по моему приглашению) моя бывшая работница – препаратор, работали вместе в лаборатории. Это была простая женщина, но с прекрасной душой. В ответ на мою просьбу взять хотя бы одного ребенка пока временно (нам казалось, что все это временно, что свет и жизнь скоро вернутся) она рассказала про жизнь в их дворе, где она жила, в дни прихода немцев. Пришел сосед этого двора с плена – еврей, весь распухший от голода, страшный, просил жильцов двора впустить его в свою бывшую квартиру (семьи его уже там не было): он у себя в квартире повесится на глазах у всех, он не хочет прятаться и спасать свою жизнь, но жильцы-активисты его не пустили. Он ушел, не дошел до конца квартала, и его сдали немцам.

«Как видите, – говорит моя работница, – они выдадут меня, моих детей вместе с вашим ребенком». И вот и эта надежда рушилась. Накануне шестого дня муж мой был у себя на квартире на Тверской и застал там мою маму. Она вместе с моими сестрами ушла из-под

Бабьего Яра, пошла куда глаза глядят по направлению Сталинки[8], но мать была сердечная больная, склероз сердца, поспеть за молодыми дочками она не могла и осталась сидеть в скверике на Сталинке, там ее подобрали «добрые люди» и отвели в немецкую комендатуру, но комендатура, принимая во внимание старость матери, отпустила ее домой. И она пришла домой, влезла через окно и сидела ни жива ни мертва. Одна соседка заносила ей кушать, тихонько через окно, когда никто не видел, протягивалась рука подающего лепешку. Она не зажигала свет, но все-таки узнали про ее незаконное существование во дворе и начали судить, должна ли она жить или нет.

На шестой день решили отвести детей на Тверскую к бабушке. На Подоле их боялись держать. Я знала, что появление их на Тверской приблизит конец мамы и деток. Я всю ночь ходила перед этим взад и вперед по комнате. Тот же самый вопрос: «Что делать? Почему я должна жить? Имею ли я право жить, а кругом меня самые близкие, дорогие должны умереть такой страшной, насильственной смертью». Я ничем не могла им помочь, разве своей солидарной смертью. Но как же Игорь, который имеет право жить, и я сознательно должна лишить его матери? Ведь ему только пять лет! И я осталась жить, жить…

Три дня и три ночи я ходила по маленькой комнатке и считала часы. В какой же час их смерть наступила? Я не замечала голода и усталости. Я старалась запечатлеть погоду через занавешенные окна, все – как их вели на смерть.

Я умоляла родных мужа, чтобы они пошли посмотреть, чтобы я знала – в агонии ли они еще или уже наступил конец на Тверской. Они боялись идти, на третий день наконец-то пошли и увидели. Накануне этого дня хозяева двора (частный дом) пригласили немцев в нашу квартиру, и маму с детками повели к концу человеческой жизни. Мама моя при уходе из квартиры еще заперла квартиру и ключи отдала той же хозяйке. Она знала, что мой муж есть и, может быть, я останусь жива и то, что в квартире, нам пригодится. Хозяйка же ключ отдала, но в квартире уже ничего не было.

Я не могла видеть лицо матери, когда она шла на смерть, но мне кажется, что я присутствовала, и я никогда не забуду ее выражения лица. В тот день был ветер, снежные хлопья лепили в глаза, она держала по обе стороны детей и сознательно шла без крика и возмущения в мир небытия.

Я одна из нашей семьи осталась жить. Сколько раз в течение двух с лишним лет безнадежной неволи я проклинала обстоятельства, из-за которых я должна жить, пока не наступит насильственная смерть. Сколько раз я жалела, что я не ушла с Игорем туда, куда моя мать ушла, где нет жизненных мучений. Я осталась жить и бороться за эту странную жизнь.

Я была погребена для жизни, меня не существовало, я исчезла для живых. Два года я не была на улице, не видела солнца, не дышала чистым воздухом. Окна квартиры были занавешены. При появлении чужого человека во дворе надо было прятаться в место, где при облаве нельзя обнаружить. Каждый час за окном, за дверью ждала смерть, смерть для всех, для всей семьи, которая меня скрывала.

Я не могу жаловаться на отношение моего мужа ко мне в первый год. На нем также отразилась смерть моих родных. Он старался достать для меня другой паспорт, чтобы мы могли где-нибудь жить хотя бы полулегально, но эти старания ни к чему не привели. Когда стоял остро вопрос, что я должна уходить оттуда, потому что всем грозит расстрел, он говорил моим родным, что и он уйдет со мной вместе, дорога же была лишь одна. Стоило мне открыть дверь и выйти на площадку лестницы, как уже смерть спешила к нам. Все соседи были заинтересованы открыть местопребывание мое. О том, что я где-то есть, они знали, так как видели меня в день прихода немцев, но где я нахожусь, для них было неизвестно. Они только предполагали и следили безустанно.

[8] Район Киева.

Когда прошло некоторое время, когда надежды на легальную жизнь не было, надежда на то, что скоро придет нам освобождение Красной Армией, также не была близка, стоял вопрос у нас о том, что мы втроем – я, мой сын Игорь и муж – покончим жизнь самоубийством через повешение. Вопрос только стоял, как технически это провести: повесить ли сначала ребенка, а потом самим, и кому последнему. Муж говорил это вполне серьезно и продуманно. Он чувствовал себя виновным в том, что мы не эвакуировались, и поэтому жертвовал и своей жизнью.

Я же, обладая большей силой воли, нежели муж, настаивала, что если вопрос стоит о жизни Игоря, надо еще бороться, и мы остались живы и снова боролись. Дворник ставил вопрос о жизни Игоря, ведь мать его еврейка была (я не существовала), и надо его сдать немцам. Родные же мужа доказывали всякой правдой и неправдой, что Игорь крещен, и спасли его. Ребенку дома внушили, что матери у него нет, что она уехала. Каждый во дворе старался застать его врасплох, и вдруг спросят: «А где твоя мама?» Слово «мама» ему было запрещено произносить вне квартиры, а дома тихонько, чтобы никто не слыхал. Он спрашивал меня: «Мама, скажи, что такое еврейка, жидовка, и почему Борю и Марика (дети моей сестры) убили немцы». Но он без особых пояснений почувствовал, что это такое. Во дворе дети дворника называли его жидом, и он выходил только со старшими на улицу. Он все время ждал Красную Армию, которая принесет волю, и он сможет громко произнести «мама» и идти с ней вместе.

Я жила, но это была горькая жизнь, безнадежная, меня губило одиночество, несмотря на то, что был муж. Я должна была сознавать, что живое все имеет право на жизнь, но я, как видно, плохо это сознавала. Я была для жизни погребена, но сама-то я была жива. И вот получилось так, что муж жил, он имел право жить и, как все живое, должен был пользоваться жизнью. Я же не в состоянии была подняться выше всего обыденного и не реагировать на окружающее. И я больно реагировала, и жизнь стала адом. Я старалась загружать себя разной домашней работой, той, которой я никогда не делала, но все равно оставалась много времени свободной. Я спала скверно и очень мало. Я боялась заснуть. Смерть близких и окружающих меня постоянно преследовала, особенно дети. Я считаю себя косвенно виновной в их смерти. Если б меня не было в городе, то они никогда бы в Киеве не остались.

Я читала много, но книг негде было взять, и я ужасно страдала от этого. В свободное время, когда мне нечего было абсолютно делать и читать нечего было, я не находила места, куда от себя спрятаться (часто никого не было дома, уходили и запирали квартиру). Я подходила к печке кафельной в маленькой комнатке и стучалась головой об нее, чтобы заглушить внутреннюю боль, ведь кричать нельзя было! Казалось, от физической боли легче. Сколько раз я подходила к этой самой печке, где висела по ней веревочная лестница, по которой я взбиралась в случае облавы на самый верх, под потолком там было сделано углубление, и я там сворачивалась в комочек, лестница убиралась наверх, и было желание покончить эту бессмысленную жизнь. Но Игорь… Я заставляла себя силой воли черпать надежду и снова жить.

Мысль о том, что Игорь вырастет и будет смотреть на жизнь людей, как многие во время оккупации и вообще, меня останавливала и заставляла жить. Я хочу воспитать его так, чтобы для него все люди были одинаковы и не было различия и отличия.

Единственный человек из внешнего мира меня посещал во время моей невольной тюрьмы, муж моей приятельницы (и она редко приходила). Он меня снабжал книгами. Когда он приходил, я только тогда хорошо понимала ощущение узников, когда к ним в камеру заглядывало пятно солнца. Я дышала воздухом по ту сторону мира, который он приносил, мы судили и рядили успехи Красной Армии по прессе немецкой. Что советская власть будет, что Красная Армия придет, я не теряла надежды, но что я этого дождусь, я не надеялась никогда. Слишком было тяжело.

Но я дождалась. За полтора месяца до прихода Красной Армии немец выгнал всех из своих жилищ. Подол был объявлен запрещенной зоной, и родные мужа должны были уйти. Мы ушли последней семьей со двора. Когда я вышла на улицу, мне казалось, что воздух валит меня с ног, такая сила движения его была. Мы жили на окраине полтора месяца, прятались в яме. (Продолжение пришлю по почте)[9].

г. Киев, Тверская ул. 13/7
Белозовская И. С.

Список еврейской интеллигенции, погибшей в Бабьем Яру (со своими семьями)

Врачи

1. Заливанский – уролог
2. Гимельфарб Исаак – гинеколог
3. Радбиль – венеролог
4. Маркович – гинеколог
5. Салтанов – невропатолог
6. Райхер – венеролог
7. Рабинович Семен – хирург
8. Ротенберг (проф.) – ларинголог
9. Иоселевич Давид – эпидемиолог
10. Френкель (проф.) – ларинголог
11. Звоницкий – терапевт
12. Айзин Сигизмунд – терапевт
13. Боярский Семен – физиотерапевт
14. Таберовский – терапевт
15. Боскис (доктор медицины) – стоматолог
16. Шапиро Николай (проф.) – стоматолог
17. Могилянский – стоматолог
18. Беренштейн – стоматолог
19. Кодинский – стоматолог
20. Шморгинский – стоматолог
21. Майдан – стоматолог
22. Плинер – стоматолог
23. Товбин – хирург
24. Дукельский Владимир – педиатр
25. Вайсбрейт Аркадий – терапевт
26. Рыбаков Семен – туберкулезник
27. Шейнис-Рыбакова Софья – стоматолог
28. Беньяш Мойсей (проф.) – бактериолог
29. Вайсблат Арон – стоматолог
30. Скловский Григорий – педиатр
31. Митницкий Давид (доц.) – невропатолог
32. Турок – терапевт
33. Каплинская Екатерина – терапевт

[9] Продолжение воспоминаний И. С. Белозовской в фонде Еврейского антифашистского комитета и в архиве И. Г. Эренбурга в «Яд ва-Шем» не обнаружено.

34. Подгаец Сарра – невропатолог
35. Дольберг – терапевт
36. Каневский Лев – терапевт
37. Дейч Яков – терапевт
38. Рабинович – инфекционист
39. Бурштейн Лидия – стоматолог
40. Черкасский – терапевт
41. Рейдерман Исаак – педиатр
42. Шампанер (женщина) – терапевт
43. Ихельзон – терапевт
44. Гимельфарб – терапевт (зав. Киевским горздравом)

Юристы
1. Бабат
2. Лейтман
3. Коган Я.
4. Коган Е.
5. Шах
6. Циперович
7. Горенштейн
8. Цейтлин

Инженеры
1. Горенштейн
2. Левин
3. Полонский (проф. Индустриального ин-та)

Разные
1. Левит – композитор
2. Беренштейн Софья – библиотекарь
3. Вольман Рахиль – педагог
4. Сатановский – пианист (с семьей в 14 человек)

Все погибли со своими семьями.

Киев, 15/I–1945 г.
Составил А. Каган[10]

Пришелец с того света
Рассказ художника Феликса Зиновьевича Гитермана

[11]

[10] Д. 965, л. 134–134 об. Машинопись с припиской и подписью-автографом. – *И. А.*

[11] Д. 965, лл. 39–45. Машинопись с правкой. Фамилия записавшего рассказ в документе не указана. Можно предположить, что им был А. Каган. – *И. А.*

Тов. Гитерман Феликс (Ефим) Зиновьевич родился в 1906 году. По профессии он художник-декоратор. Он, между прочим, занимался оформлением зданий по улице Крещатик, по улице Свердлова[12] и др.

С начала войны с немцами тов. Гитерман принимал участие в оборонных работах Ленинского райисполкома. Жена его, украинка, Гусак Людмила Филипповна, родилась в 1906 году, у них двое детей: дочка Лариса – 1932 года рождения и мальчик Олег, рождения 1940 года. Мальчик в начале войны заболел, что помешало семье тов. Гитермана эвакуироваться. Сам же тов. Феликс Гитерман выехал 16 сентября 1941 года из Киева на машине вместе с группой других работников Ленинского райисполкома. Немцы стояли тогда уже весьма близко, и все дороги из Киева находились под непрерывным обстрелом вражеской авиации. Пробраться из города можно было только ночью, и притом – с большими трудностями.

Лишь 19 сентября машина прибыла в Борисполь, попав тут же под жестокую бомбардировку. Одна бомба угодила прямо в машину. Тов. Гитерман очутился метрах в десяти от машины; в руках его оказалась чья-то шляпа вместе с оторванной головой…

Многие из работников, ехавших вместе с ним, погибли. Оставшиеся в живых раздобыли другую машину и попытались вырваться из Борисполя, но было уже поздно. Их окружили немцы и заключили в концлагерь. Некоторые стали потихоньку уничтожать свои документы. Тов. Гитерман решил оставить документы при себе.

Первый вопрос, с которым немцы обратились к пленным, был: *Jude?* Следователь Лорман и еврей-прокурор, оказавшиеся среди пленных, тут же застрелились. Третий работник – еврей Зильберштейн ответил на этот вопрос отрицательно. Товарищ Гитерман сразу же ответил: «Да, еврей». Его отвели в сторону.

Вскоре составилась большая группа пленных. Всех погнали в Бровары. Через несколько дней там скопилось свыше тридцати тысяч человек, среди них – около двух тысяч евреев, которых отделили от остальных. Их оградили густой проволочной сетью, а кругом расставили пулеметы. Есть им не давали (украинцев кормили сырой картошкой). Все были охвачены ужасом и о еде не помышляли. Ужас усиливался с наступлением ночи. Немцы забавлялись тем, что перед самым лагерем разводили костры, сжигая на них портреты вождей советского народа. Зрелище это производило ужасающее впечатление на пленных. Всех одолевало чувство страха и сознание своей беспомощности. Никто не надеялся на спасение.

На второй день пригнали новую партию пленных. Опять отделили евреев. Некоторые пленные из украинцев стали снимать с евреев сапоги, часы, пиджаки и т. п. Полунагих пленников-евреев согнали в особый лагерь.

Вечером немцы отобрали на работу тридцать человек, которые утром вернулись. Тогда же в лагере появились корреспондент и фотограф, фотографировали преимущественно голодных и полунагих пленных с целью использовать снимки как материал, иллюстрирующий, как выглядит армия Советов… После ухода фотографа опять отобрали большую группу пленных. Оказалось, что вблизи лагеря роют широкие рвы… Работа эта заняла три дня.

На четвертый день утром выстроили всех евреев у лесной опушки вблизи выкопанных рвов, на дне которых уже виднелись трупы, и стали стрелять в них из пулеметов. Устоявших на ногах ударяли прикладами и сваливали в яму. Тов. Гитерман также попал в яму полуживой. Весь день он лежал в забытьи. Когда он очнулся, было уже темно. Ямы оставались открытыми. Раздавались крики, стоны и тихий предсмертный хрип. У тов. Гитермана сочилась кровь из ноги. Куском от своей рубахи он кое-как перевязал себе рану и стал осторожно

[12] Ныне ул. Прорезная.

карабкаться через тела мертвых и полуживых. Но вдруг он споткнулся; ему показалось, что среди груды тел кто-то тащит его за ноги…

Проснулся он на рассвете. Он надел припрятанный им под брюками свитер и пустился в дорогу. Шел он лесом в противоположную от лагерей сторону. Издали тов. Гитерман заметил крестьянок, копающих картофель. Он подошел к одной из них и стал ее расспрашивать о том, как пробраться в Киев. Та, испуганно оглянувшись, молча ударила его по руке, указав на картофель: копай, мол, вместе со мною и молчи… Гитерман повиновался. Спустя некоторое время она наполнила довольно большой мешок картофелем и, подвязав, взвалила ему на спину, затем, с опаской оглянувшись, показала ему на дорогу. Он поплелся и вскоре нагнал других бежавших из лагеря пленных, украинцев. Те в испуге шарахнулись от него. Гитерман вынужден был отойти. Не выпуская их из глаз и соблюдая определенную дистанцию, он следовал за ними. Вскоре он заметил, что гестаповцы проверяют документы. Он спрятался в лесу и стал выжидать. Кое-как он наконец пробрался на Труханов Остров. Минуя немецкие посты у комендатуры, охранявшейся пулеметчиками, он столкнулся с одним рыбаком, и тот за мешок картофеля доставил его в город.

Таким образом, Гитерман снова очутился в родном городе, оставленном им десять дней тому назад. Но, увы, Гитерман почувствовал себя как в совершенно чужом городе. На улице Кирова[13] он заметил группу евреев, которых гестаповцы гнали куда-то и били по головам резиновыми дубинками. Прохожих почти не видно было. Кое-где встречались старики и женщины, с опаской и торопливой походкой перебегавшие улицу. Тов. Гитерман кое-как добрался до Крещатика. Оглядываясь, он издали заметил еврейскую женщину с ребенком. Он подошел и заговорил с ней. Она ему рассказала, что в городе часто убивают совершенно ни в чем не провинившихся евреев и что евреям, в особенности мужчинам, не следует ходить по улицам, что в лучшем случае их гонят на тяжелые и грязные работы. Гитерман пошел дальше.

Он подошел к тому месту, где совсем недавно стоял дом, в котором он жил (Свердлова 13/25), – от него остались одни лишь дымящиеся голые стены. Что предпринять? Где искать убежища? И вдруг он встречает одного знакомого, Михайленко, который рассказал ему, что его, Гитермана, жена живет на Соломенке[14] у своего отца. Дом, где жил Михайленко, тоже сгорел, и потому Михайленко повел Гитермана во двор, где лежали его вещи. Михайленко снабдил его сухарями, напоил его чаем. Такое угощение после стольких дней голода показалось Гитерману изысканным. Неимоверно усталый, он прилег отдохнуть. Вечером Михайленко укрыл его ковром.

Около часу ночи заговорило радио. Всем жителям предложено было оставить город. При этом не умолчали о евреях, против которых велась погромная агитация. Гитерман решил немедля пробраться на Соломенку. Тесть его, у которого теперь жила его жена, – старый железнодорожный служащий, член партии, сын его на фронте, остальные члены семьи эвакуировались; сам он был на окопных работах и выехать не успел. И вот Гитерман идет к тестю на квартиру. Кругом ни живой души. Тлеют то тут, то там остатки некоторых домов. Вот дотлевает и Дом ученых. Редко встречается на пути прохожий. Но вот показались гестаповцы. Они останавливали прохожих и сгоняли их на большой двор по Караваевской улице, где стали проверять документы. Это продолжалось свыше двух часов. Те, у которых на руках были «хорошие» украинские документы, – а их среди задержанных было большинство, – торопились скорее протиснуться к воротам; такие же, как Гитерман, задерживались, оставаясь где-либо поодаль. Немцам наконец надоела эта история, и они широко раскрыли ворота и выгнали всех на улицу. Гитерман пошел дальше и благополучно добрался до Соломенки.

[13] Ныне ул. Грушевского. – *И. А.*

[14] Район Киева. – *И. А.*

Но войти в дом тестя было ему нелегко: шофер машины, на которой Гитерман выехал из Киева, сам видел, как его вели на расстрел, и он сообщил об этом жене Гитермана. Встретили его поэтому как пришельца с того света.

Дня через два в газетах[15] оповестили всех евреев, что они должны явиться на улицу Мельника, захватив с собою пищу на пять дней[16] и теплые вещи. «Значит, – рассуждал Гитерман, – нас собираются выслать». И он уже было решил явиться по приказу… Но жена его категорически воспротивилась этому. Она сама отправилась туда на Лукьяновку и к вечеру ввалилась в дом в истерике. Оказывается, людей гонят на убой… На следующий день она опять пошла в город, чтобы точнее разузнать о судьбе евреев, согнанных на ул. Мельника. Гитерман, оставшись один, от нечего делать решил побриться. Сидя лицом к зеркалу, он замечает, как в открывшуюся дверь входит немец. Он оцепенел.

Немец оглянул комнату. На его вопрос: *Jude?* Гитерман еле мог качнуть головой в знак отрицания. Немец ушел. Так Гитерман в третий раз избежал смерти, казавшейся неминуемой.

О том, чтобы дальше оставаться в доме тестя, не могло быть и речи. Жена Гитермана вырыла вблизи Байкова кладбища глубокую яму, положила туда теплый кожух, сухари и зарыла туда мужа, оставив место для подачи пищи.

За полтора месяца жизни в этой яме Гитерман весь распух. Оставаться там дальше было равносильно гибели. Людмила Филипповна решила подыскать какую-нибудь квартиру. В то время в городе было много пустовавших роскошно меблированных квартир. Но не это нужно было Гитерману. Выбор пал на один полуподвал по Красноармейской улице, имевший черный ход, так что в случае опасности можно было спастись где-либо в глубине двора. Гитермана побрили, нарядили старушкой и привели на эту квартиру.

Тут он ожил. Днем все уходят, квартиру запирают снаружи на замок: никого, мол, дома нет. Гитерман остается внутри. Вечером же все сходятся, делятся новостями. Гитерман забавляет детей. Слово «папа» изгоняется из употребления, чтобы во время возможного обыска ребенок нечаянно не выдал отца. Гитермана домашние называют «бабусей». По знакомым мать и дочь собирают необходимую пищу. Мать занимается стиркой и кое-как раздобывает хлеб и картофель. Стужа стоит невероятная, ибо окна остаются незакрытыми, чтобы в случае надобности их можно было бы легко открыть. Но, страдая от холода и голода, они как-то живут. Однако вскоре наступает период частых облав и обысков. Что делать теперь? Людмиле Филипповне удается через знакомых добиться согласия главного врача Кирилловской больницы поместить туда мужа как умалишенного. Но этот план не был осуществлен: немцы пришли в больницу и всех умалишенных расстреляли. Гитерман вынужден пока остаться дома. И вот однажды нагрянули немцы с полицаями. Дочь заблаговременно успела выпустить отца через черный ход на двор. «Мужчины есть?» – допытывается полицай. «Нет, – отвечает Ларочка, – отца убили на фронте». Немцы и полицаи уходят. Гитерман возвращается в дом, и тут он с ужасом замечает, что на подушке он оставил свои документы.

Облавы между тем становятся все чаще. По улицам водят оставшихся евреев к расстрелу; вместе с ними расстреливают и украинцев, скрывающих у себя евреев. Однажды во время стирки белья жена Гитермана услышала стук в дверь. Облава и на этот раз ничего не обнаружила: Гитерман догадался унести все белье на чердак, иначе по наличию мужского белья можно было догадаться о присутствии в доме мужчины. Но опасность усиливалась, облавы участились. Тогда пригласили тестя, и на чердаке был устроен огороженный угол,

[15] В городе было расклеено две тысячи объявлений. – *И. А.*

[16] Об этом в объявлении не говорилось. – *И. А.*

замаскированный так искусно, что обнаружить его было почти невозможно. Вниз Гитерман спускался в очень редких случаях, предпочитая все время оставаться в своем укрытии.

Так прошло двадцать месяцев. Но вот немцы объявили Красноармейскую улицу «запретной зоной». Населению дают сорок восемь часов на переселение за пределы этой зоны.

Пришлось переехать на Соломенку, опять в дом тестя, хотя там было далеко неблагополучно: кто-то донес на старого железнодорожника, что он член партии, и его расстреляли вместе с восемью другими украинцами. Жена Гитермана замуровала мужа в погребе, где, правда, были мыши и крысы, но был и достаточный доступ воздуха. Здесь было сравнительно безопасно. Но вскоре немцы приказали оставить Соломенку. Куда было теперь деваться?

У Людмилы Филипповны была знакомая – жена полковника Пичугина, участвовавшая в партизанском движении. Она прятала в разрушенных домах на Крещатике партизан. В одной из развалин у нее был запас картофеля и воды. Туда-то она предложила переехать семье Гитермана. Не так-то легко было пробраться туда из Соломенки. Гитермана опять одели «бабусей». С маленьким Олегом на руках он пустился в этот рискованный путь вместе с женой и дочкой. По дороге, при виде первого немца, он выронил ребенка из рук; малыша подняли и снова передали в дрожащие руки «бабуси». Так пришли наконец на «новую квартиру».

К часу ночи на 6 ноября 1943 года на Крещатике показались наши танки. В одиннадцать часов утра тов. Гитерман вышел на улицу, где встретился с сотрудником НКВД тов. Мазуром. 7 ноября он встретил тов. Бажана[17]. Тот расцеловался с ним и представил его Никите Сергеевичу Хрущеву[18]. Тов. Гитерман еле держался на ногах, он дрожал и не мог ни слова выговорить. Никита Сергеевич, поддерживая его, успокаивал: «Ничего, дружок, скоро опять будете оформлять Крещатик».

Гитермана скоро обеспечили работой, и ему был выдан ордер № 1 на квартиру (Львовская 6, кв. 51). Оттуда открывается прекрасный вид на Днепр, что особенно привлекло художника-декоратора тов. Гитермана.

Как я спаслась от Гитлера
Воспоминания учительницы Эмилии Борисовны Котловой

[19]

Дорогой и родной наш Илья Эренбург!

12 января получила Ваше письмо, за которое очень благодарна. Я ждала его круглый год.

Вчера был мой второй счастливый день в моей жизни, когда читала от Вас письмо. Первый счастливый день в моей жизни был 25 декабря 1943 года, когда на улицах нашей деревни увидела нашу доблестную Красную Армию. Третий радостный день в моей жизни был бы тогда, когда бы с Вами поговорила лично.

Я могла б передать очень ценный материал для «Черной книги», а на бумаге все не напишешь. Хотя я не обладаю даром слова, но я надеюсь, что Вы меня поймете. Я уже стара, имею сорок три года. Дети еще маленькие. Старшая дочь Мери – десятый годик, младшая Светлана восьмой годик. Муж находится в рядах Красной Армии с 23 июня 1941 года. Известий о нем никаких нет.

---

[17] Микола Бажан (1904–1983), писатель, в 1943–1949 гг. – зампредседателя СНК УССР. – *И. А.*

[18] В то время – первый секретарь компартии Украины. – *И. А.*

[19] Д. 960, лл. 138–175 об., 191–198 об. Автограф.

Сперва напишу свои личные переживания, а потом людские. Начала писать книжку о гитлеризме, но прекратила.

Книга делится на три части: 1) Автобиография моя. 2) Как я спаслась от Гитлера. 3) Я снова живу.

Я за три года скитания по свету с двумя крошками (одной было шесть лет, а другой четыре годика) видела и пережила такое горе, что мне кажется, что человеческий язык не в состоянии рассказать и написать. Что делалось в Бабьем Яру, это уму непостижимо. Когда я вспоминаю о прошлом, мне становится страшно, жутко и холодно, как будто нахожусь в темном бору одна ночью. Только одно видеть, как шли невинные евреи к назначенному месту гибели (сознательно). А потом, как вели евреев этапным порядком из Харькова, успевших удрать из Бабьего Яра (как били их!); окровавленные, изнуренные, голодные, раздетые, истощенные, босые, измученные шли колоннами: молодежь, старухи, мужчины в цвете лет тридцати пяти – тридцати шести, дети разных возрастов, даже грудные. (Я пишу и в то же время обливаюсь горькими слезами.) На всех столбах были наклейки, что Гитлер убил шестьдесят две тысячи евреев по просьбе других национальностей[20], но это неправда, это его личная инициатива. В Киеве я была при немцах один месяц, потом меня выдали соседи, с которыми прожила в одном доме много лет. За день до прихода Гитлера мы были ярыми друзьями, а через десять дней выдали меня и привели мне гестапо в дом.

Вот какие корни пустил Гитлер. Эти корни остались еще на пятилетия. Потом я ушла с детьми в Житомир, а там меня арестовали и повели в гестапо. Вкратце опишу мой допрос. По дороге в гестапо тайный агент ударил Светлану в спину сапогом (ей четыре годика и после болезни корью). Она медленно шла, и ребенок сильно заплакал от боли. «Иди! Скорее, жидовская морда, сейчас пойдешь в расход». Я отвечаю: «Неизвестно, кто из вас пойдет в расход, ты или она». Привели и закрыли нас в темный чулан с цементным полом. Моросил осенний, мелкий, холодный дождичек. Как Пушкин писал: «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Так было и у нас. Я ушла из Киева в одном летнем пальто и в одних туфельках, не успела ничего взять с собой, так как гестаповцы пришли за мной по указаниям соседей. (А добро осталось для кого-то.) Я и дети были измучены дорогой, потом в Житомире узнала, что сестра моя со своей семьей заживо засыпана[21]. И от всех переживаний упала на пол и задремала с детьми на голом, холодном цементе. И вдруг слышу, открывается камера и зовут меня и детей на допрос. Сидит гестаповец и рядом переводчик (дословно):

– Вас обвиняют в том, что вы еврейка.

Мой ответ:

– Кто меня обвиняет?

Переводчик:

– Немецкое правительство.

Мой вопрос:

– Больше ни в чем? А в воровстве? – Нет. – А в убийстве? – Нет. – Тогда я не еврейка. Улики у вас есть? Докажите.

Меня временно оставляют. Переводчик обращается к Мери (старшая девочка):

– Скажи, девочка, твоя мама любит немцев?

Ответ Мери:

– Моя мама ненавидит фашистов, но она боится вам сказать.

---

[20] Информация о числе жертв появилась в советской прессе и могла быть доступна автору в момент написания письма. Согласно отчету айнзацгруппы *C*, число казненных 29–30 сентября 1941 г. составило 33771. Сведения о том, что оккупанты оповещали население о количестве убитых в Киеве евреев, недостоверны. – *И. А.*

[21] В Житомире немцы провели первые «акции» в июле-августе 1941 г. Тогда погибло около 5 тысяч евреев. 19 сентября 1941 г. было убито еще около 5 тысяч евреев.

Допрашивают младшую:

– Ты еврейка? – Ай, не хочу кушать. (Она думала, что это такая еда.)

Потом опять обращается к Мери:

– Ты еврейка? – Нет. – Русская? – Нет. – Полька? – Нет. – Немка? – Нет. – Чешка? – Нет. – Украинка? – Нет.

Тогда вскрикнул:

– А кто же ты? – Я Мери, – послышался ответ девочки. Допрос мой был мучительный, долгий и томительный. Не дознавшись, кто я, допросили нас в гестапо (фотографировали меня несколько раз). В эти же дни, что находилась в гестапо, я узнала, где находятся партизаны и в каком лесу (от людей приходящих). Опишу страшную картину из гестапо. Расстрелы евреев происходили на моих глазах. Открывается дверь, и всыпается толпа мужчин и одна девушка лет семнадцати-восемнадцати. Я посмотрела на них, сейчас узнала, что евреи. Спросила девушку:

– Откуда вас ведут?

Отвечает она мне:

– Из Коростишева в тридцати пяти километрах от Житомира. Мужчин нашли в лесу, а меня забрали сегодня. Спрашиваю опять: «За что?».

Тихий, отрывистый ответ девушки. Она находилась у одной старой крестьянки в селе. Тайный сыщик приставал к ней и хотел с ней жить, но она отказалась.

– Лучше меня убьют, но не отдамся я ему.

Толпа евреев спрашивала у арестованных по-еврейски: «Зукт, хаверим, вус кен зайн мит унз»[22].

Как вдруг, откуда ни возьмись, выбегает палач, я его уже хорошо знала, ибо все время заглядывал в мою сторону и считал, сколько нужно пуль для меня. «Ах! жидовские морды, и тут по-жидовски». И начинает прикладом бить этих евреев куда попало: в зубы, в лицо, в живот, в нос и даже по ногам. Я обмерла на месте, а дети так визжали и кричали – что-то страшное. Жалко, что я не художник, нарисовала бы их лица. Допрос был короткий. Долго не думал палач. Вижу, взял винтовку, пули и черную шаль. В этой шали он приносил одежду с убитых обратно в гестапо. И погнал толпу евреев, как стадо смирных овец, вдоль длинного гестаповского двора.

Слышны были выстрелы, и через минут двадцать пять вернулся он веселый и довольный, что в его черной шали было много окровавленного еврейского барахла. Скромная, юная девушка прощалась со мной и сказала мне: «Будьте живы с детьми, а мне так хочется жить и жить, мне лишь восемнадцатый год». Итак, ее нет. Я даже не спросила, как ее зовут. На следующий день привели одну коммунистку-еврейку. Она спала рядом со мной и дала детям хлеб. Ночью я спросила ее, за что взяли и где. В Житомире она где-то работала, и один мерзавец захотел, чтобы она ему отдала свое единственное пальто (оно было мужское). Девушка отказалась, ибо была глубокая, холодная осень и без пальто не могла остаться. За это он ее выдал. И когда вели ее на допрос, то ей пели: «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой никогда на свете». Больше не видала ее. Куда делась, неизвестно мне, но догадываюсь… Из всех арестованных встретила только одну девушку Чарну в Житомире в 1942 году летом (случайно живую). Она меня узнала, и я ее узнала. Она мне не призналась, что еврейка, и я тоже нет. Она боялась меня, и я боялась ее. И сколько еще видела таких картинок там, не рассказать и не описать. Не только раз была арестована, я была еще два раза арестована без детей. Третий раз уже приехала за мной машина гестаповская в село Покостивка Житомирского района Житомирской области в августе 1943 года (я снята[23] у

[22] Скажите, товарищи, что будет с нами? (*идиш*).

[23] Сфотографирована. – *И. А.*

гестаповцев). О жизни моей, о муках еще не писала. Там еще страшнее. Уже два часа ночи. Пишу при коптилке, когда-нибудь напишу. Если бы было тепло и было бы у меня зимнее пальто, то поехала б в Москву, Там у меня живет брат по ул. Фридриха Энгельса, дом 3/5, кв. 4. А. Б. Котлов.

На днях приехала дочь моей бывшей няни из Фастова (крестьянка). Рассказывает нам такой случай. В 1941 году, когда немцы убили в Фастове всех евреев, то детей еврейских оставили. Было их восемьсот детей. Был дан приказ, что все селяне обязаны взять по ребенку, хорошо питать и ухаживать. И если будет убито хоть одно дитя, то отвечает целая селянская семья. Три месяца кормили этих детей. По окончании срока, когда дети поправились, то немцы издали такой приказ: «Вернуть всех детей еврейских к назначенному месту. За отказ – смерть». Дети были привезены, и их отвезли в госпиталь. Там привязали к кроватям и высасывали у них кровь для раненых немцев. И судьба детей была закончена[24].

Моя личная просьба к Вам. В Киеве живу с 28 апреля 1944 года. Вообще в Киеве прожила четверть века и проработала в школах двадцать четыре года. Сейчас в данное время работаю в детсадике воспитательницей из-за квартиры. Ночую сегодня на двух коечках в детсадике, ибо пишу. Квартиру свою еще не получила. Валяемся семь человек в чужом, мокром подвале и спим на голом полу. Прекратила писать по таким причинам: нет угла, нет стола, на чем писать, нет стула, на чем сидеть.

Мое дело за № 8985 находится на рассмотрении городского прокурора тов. Лозина. Уже зима, а квартира моя занята другими людьми, хотя по закону 5 августа 1941 года я должна была получить свою площадь как семья военнослужащего. Та соседка, которая меня выдала гестапо, вселилась в мою квартиру и забрала все мое имущество. Она роскошествует моим добром, что нажито честным трудом, а я валяюсь без кровати. Судимся с мая 1944 года. Дело уже перешло в уголовное, как похищение чужого имущества. Все обещают, что скоро будет суд. Дело мое находится в Ленинской районной прокуратуре у тов. Самсоновой долго и неподвижно. Я сама беззащитна, хотелось бы Вашей помощи в этом отношении. Казалось бы, что после таких мук и переживаний должна на старости лет иметь угол, и дети красного командира тоже заслужили это. А соседка, враг народа, преспокойнейшим образом живет и торгует на базаре керосином. Если будет малейшая возможность, помогите.

А теперь хочу просить Вас, дорогой Илья Эренбург, в отношении задуманной мной книжки. Ваши указания и направление. Пишу первый раз в жизни. В молодости любила писать о природе. У меня есть сильное желание написать такую книгу, но настроение у меня плохое, последние дни я начала чувствовать, как у меня отнимается левая рука от сырости. При Гитлере я два года не видела хлеба, и зимою в самые сильные холода моя комната не отапливалась. У детей и теперь отморожены руки и ноги.

Будьте здоровы!

Эмилия Борисовна

Почему я должна и теперь страдать?

Мой племянник Абраша Костовецкий посылает свои стихи для «Черной книги» о еврейском народе. Парень еще молодой, двадцать три года ему. Часто пишет и любит писать.

Всего хорошего.

[24] Не подтверждается другими источниками. – *И. А.*

Котлова

Соседка – враг народа, что все забрала у меня, пишет на меня всякие небылицы и обливает меня всякой грязью незаслуженно. Пройденный путь мой прошел в честном труде. Она мне говорит, что если она захочет, то советская власть расстреляет меня, как собаку.

Прошу ответить.

* * *

Дорогой писатель И. Эренбург!

Посылаю материал для «Черной книги».

Некоторые факты не пишу, будет возможность, лично расскажу.

Как я осталась в Киеве и почему? Было время, что не было возможности выехать из Киева, а когда настала эта возможность, то у меня заболела младшая девочка, и везти больную невозможно было. Не успела освободиться от одной болезни, как заболели обе на корь. Как раз заболели в дни прихода людоеда Гитлера. Писать о приходе Гитлера в город не приходится, всем известно. Черная хмара[25] нависла над городом. На всех перекрестках и витринах были наклейки и приказы о смерти или «смертная казнь». Народ говорил: «За все смерть, тогда за что жизнь дана?» Через три дня горел Киев. Это был страшный суд над людом. В это страшное время, когда рушились дома, в воздухе летали обгорелые брусья, обломки камня и щебня засыпали живых людей, стекла сыпались из окон, как мелкий дождичек. Как люди метались, как обгорелые крысы в клетке, когда везде и всюду слышны были крики и вопли людей. В это самое время в дыму, в огне гитлеровцы грабили квартиры и тащили патефоны, машины, одежду и о спасении людей не думали. В эти же дни Гитлер показал свое настоящее лицо перед народом (свою гнусность, наглость, но зверства еще не показал, оно было пока крыто-шито). Много еврейской молодежи убил, обвиняя их в поджоге. Ровно через десять дней, в день Йом-Кипур – Судный день по еврейским обычаям, 29 сентября 1941 года совершилось гнусное злодеяние Гитлера. Он принес жертвоприношение своему идеалу «фашизму». Он проглотил шестьдесят две тысячи евреев – невинных жителей. Он напился еврейской кровью, что его жилы лопаются. И этот памятный день войдет в историю человечества. Ранней зарей красовался «гитлеровский приказ», никем не подписанный, о небывалой гибели евреев (пишу дословно). Приказ был напечатан на двух языках: на немецком и украинском.

Наказуеться всім жидам міста Киева і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до 8 години ранку при вул. Мельника – Доктерівскій (коло кладовища). Всі повині забрати з собою документи, гроші, білизну та інше…[26]

Еще накануне Судного дня, то есть 28 сентября 1941 года[27], Гитлер собрал всех евреев-мужчин города Киева и погнал в Бабий Яр копать ямы, а к вечеру всех расстрелял. Все евреи были уверены в том, что Гитлер везет их в гетто, но никто не мог подумать, что им там будет конец. Что стоило посмотреть на несчастных, беззащитных евреев и на их шествие к

---

[25] Туча (*укр.*).

[26] Приказ имелся и на русском языке: «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».

[27] В 1941 г. Йом Кипур пришелся на 1 октября.

месту назначения их гибели? Страх и ужас! Волной шли – молодые, старые, женщины, мужчины и дети всех возрастов, и всякий спешил занять более удобное место в вагоне. Везли на подводах и повозочках свой скарб (одежда, посуда и продукты). Некоторые везли балии[28], ночевки[29], самовары. Шествие началось в восемь часов утра 29 сентября 1941 года, и три дня подряд шли и ехали евреи. Но куда? Сами не знали. Бабий Яр расположен близ еврейского кладбища, одна его стена упирается почти в Бабий Яр. Заранее были приготовлены ямы. Становились вокруг ям, и расстреливали из пулеметов, а те падали в ямы. Детей отбирали и отдельно убивали, брали на штыки, рвали на половины новорожденных. Не хватало ям, так землю взрывали минами, и от этого в то же самое время засыпало заживо евреев и образовались новые ямы. Земля шаталась от движения людей в одной яме, а из другой образовалась щель, и оттуда сочилась еврейская кровь. Место было окружено гестаповцами. У входа отбирали документы, одежду, драгоценности, продукты, а дальше в Яре раздевали и бросали все на кучи. Вопли, крики, плачи, мольбы и раздирающие крики детей и женщин не трогали звериных душ мерзких палачей-фашистов. Все делалось «по приказу» Гитлера. Старые евреи молились Богу и кричали: «Шма Исраэл адонай…»[30]. Молодежь боролась с палачами и кричала: «Народ отомстит за нас». Перед убийством они еще успевали изнасиловать женщин. Стоя на расстоянии, можно было умереть со страха, но человек сильнее железа и не умирает прежде времени, живет и все переносит. (Пишу сокращенно.) Некоторые евреи не пошли в Бабий Яр, они кончали жизнь самоубийством. Врачи отравляли себя и детей морфием, были случаи, когда обливали керосином себя и своих детей и не сдавались палачам в руки. Такой смертью скончалась одна наша ученица пятого класса 47-й школы Рива Хазан, жили по Короленко[31], 43, кв. 13. Мать и дочь облились керосином и сгорели, и все с ними сгорело. В нашем доме на Ленина[32], 12, они убили старика Столярова, и когда жильцы его выбросили во двор, они, гитлеровцы, наступали грязными чоботами с гвоздями на лицо убитого еврея, злорадствовали и кричали: «Капут юда!» Лицо убитого покрылось дырками, а потом еще два раза выстрелили в рот и глаза и ушли. Какая месть была у меня тогда, видя все это? Но увы! И как я проклинала эту минуту, что дождалась ее. Через пять дней после Бабьего Яра был издан другой приказ: что все еврейские квартиры должны быть опечатаны и все еврейское добро передано домоуправами в указанное место. Цель какая? Окончательно изгнать евреев из квартир и покончить с ними.

Свою намеченную цель Гитлер выполнил. Евреи были изгнаны, а добро забрано. У Гитлера еще остались евреи в плену. Восемьсот тысяч пленных взял под Киевом[33]. Они пока находились [в лагерях] (Борисполь, Нежин, Переяслав). Среди них было четыре тысячи евреев (и мой муж был среди них). Гнали пленных почти две недели на Киев. Была осень, и по вечерам уже было холодно. Впереди шагала колонна евреев: раздетые и разутые, изнуренные, тощие, подвязанные и окровавленные. По дороге они отставали, гитлеровцы сильно их били. Лагерь пленных был на Керосинной улице. Во дворе ямы, и в этих ямах находились пленные евреи. Кушать не давали по три дня, они умирали голодной смертью. Раз указали на еврея, что он комиссар. Его вытащили из ямы в одних трусах, поставили посредине двора и начали пытать: окружили его четыре гитлеровца с кинжалами с четырех сторон. «Ты комиссар?» И ножом в спину. Другой: «Ты юде?» Ножом в живот. Третий: «Ты коммунист?»

---

[28] Балия – металлическая емкость для купания, стирки, выварки. – *И. А.*

[29] Правильно – ночвы: емкости, обычно деревянные, для стирки, купания детей, замеса теста. – *И. А.*

[30] Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый (*иврит*).

[31] Ныне ул. Владимирская. – *И. А.*

[32] Ныне ул. Богдана Хмельницкого. – *И. А.*

[33] Согласно немецким источникам, под Киевом попали в окружение около 650 тысяч советских солдат. – *И. А.*

Ножом в правый бок. Четвертый: «Ты НКВД?» Ножом в левый бок. И так казнь совершилась прилюдно. Еврей два раза успел крикнуть: «Палачи! Отомстят за меня и за нас всех!».

Остальные евреи были расстреляны также в Бабьем Яру. В 1942 году летом я видела много западных евреев-мужчин четырнадцати-шестидесяти лет, работали на грабарках[34] за Житомиром. Целое лето проработали, а к зиме всех расстреляли, а многие умерли голодной смертью. И такой была судьба всех евреев.

Вкратце опишу свою жизнь при Гитлере. Меня после этого приказа уже не впустили в свою квартиру наши же соседи, с которыми прожила в одной квартире восемь лет в большой дружбе. Активное участие принимала все время жена партийца Артеменко Христина Степановна в моей смерти. Она меня выдала и переселилась в мою квартиру и забрала все мое имущество, и она пользуется и сейчас им. Она преспокойнейшим образом живет в столице городе Киеве по ул. Ленина, 10/3, как будто где-то работает и является сейчас честной советской гражданкой. Она знала, что я еще жива и буду ей мешать, как видно, так она думала. И на моем несчастье она строила свое благополучие. Занимается явно грабежом и мародерством и чувствует себя прекрасно (бездетная, бывшая кулачка). А я валяюсь с двумя детьми на голом, холодном полу в подвале, где льется вода со стен ручьями, как у Гитлера лилась еврейская кровь (без кровати, без стола, без стула), ибо не имею средств на то, чтоб новое приобрести, а эта хулиганка, враг народа, роскошествует моим добром, что годами нажито в честном, тяжелом труде. Где же тогда человеческая справедливость? Может быть, мой ум еще до этого не дошел? История об этом умалчивает (пишу о прошлом).

Имея таких соседей, я должна была с больными детьми перейти в другой дом по ул. Ленина, 29, так как там никто не знал, что я еврейка. Потом ежедневно ходила на базар, чтобы что-нибудь достать для больных детей (одной было шесть лет, а другой четыре года). Однажды на Еврейском базаре меня встретила знакомая продавщица и говорит мне вслух: «Как она не боится шляться по базару?! Сидела бы дома та не рыпалась». С продуктами было очень трудно, ибо немцы отбирали все у селян без денег, и селяне перестали возить в город. Были дни, что почти умирали с голоду больные дети, и никто не хотел помочь (хотя бы корочку хлеба), а в квартире все осталось. И так в страхе и голоде прожила месяц в Киеве при немцах. Соседи зорко следили за мной, они не знали, куда я делась. В одно прекрасное утро меня настиг сосед и он же наш истопник школы Баран и следил за мной, и узнал, где нахожусь, и передал соседке Артеменко. Хулиганка Артеменко явилась к нам, на парадном агитировала всех соседей – зачем они меня укрывают в такое опасное для них время, ведь я еврейка. Переведу на украинский язык: «На що вы укриваете цю жидовку? Нехай вона іде до своеі хати, бо вона живе по вулиці Ленина, 12». Одна соседка была жена профессора, и ее внук у меня учился, ответила: «Эмилия Борисовна не еврейка, это неправда». А другая соседка ответила: «Хиба вона жидівка? Вона людина, як треба»[35]. (Выходит, что евреи не люди.) Но мои соседи на этом не успокоились. Баран меня встретил вторично утром, он шел благополучно на работу к Гитлеру, а я с базара. И тут он уже не стерпел. Узнал, в какую квартиру вошла, и через минут тридцать привел мне гестапо на дом. Он им говорил, что я еврейка-юда, что я здесь скрываюсь. Кричал на меня, топал ногами и со всякой руганью: «Жидовка, покажи пашпорт!» Я показала бумажку, о которой будет идти речь дальше. И конечно, отрицала все, что говорил Баран. Они ушли с тем, что придут еще раз, так как дети лежали больные, то думали: «Куда ж денусь с ними?» Спустя немного слышу, как в коридоре спрашивают, где живет юда. Соседи в ужасе, что в их квартире оказалась юда-еврейка. Крик на всю квартиру, и когда этот крик дошел до меня, я схватила двух больных детей и выскочила черным ходом на бульвар Шевченко вниз по Тургеневской к одной знакомой учи-

[34] Тачки или повозки для грунта. – *И. А.*

[35] Разве она еврейка? Она человек, как надо (*укр.*).

тельнице, с которой знакома была только десять дней. Была тогда суббота, а в воскресенье ушла из города Киева.

Баран и Артеменко привели ко мне жандармерию, но я спасла жизнь бегством. В Киеве остались еще некоторые врачи-профессора. Рабинович – хирург, профессор по детским болезням. Дукельский – еврей. Они были убиты в 1942 году, через год. Много мне рассказывала жена старого Дукельского (ему было семьдесят два года), а жена у него русская, как она его спасала, но не помогло.

Как я оставляю г. Киев и беру маршрут на Житомир? Дорога на Житомир – начинаются мои новые мытарства. Почему избрала Житомир? А вот почему. За месяц пребывания немцев в Киеве я была очевидцем многих страшных, мучительных картин над евреями, которых вернули с дороги обратно в Киев этапным порядком. Они бежали в Харьков или ближе к фронту, чтобы перейти к нашим. Часто не удавалось. На еврейском кладбище была «контора смерти». Когда просила нашего управдома еще «советского» Полонского зайти со мною в мою квартиру, забрать свидетельство по окончании института, то ответил, чтоб я принесла ему справку из «конторы смерти», что я безопасный человек для немцев, но когда я предложила пальто мужа, то пошел без справки.

Раз иду по улице Короленко близ памятника Богдана Хмельницкого, вижу, ведут этап евреев откуда-то. Они чернее черного. Представьте себе мое состояние, когда я увидела знакомую учительницу. На мне лица не было. Выступил холодный пот от испуга. Я за ними вслед пошла, но держалась в стороне. Учительница была еще одета в синем осеннем пальто, знакомом мне, с головы спал платок, а в руках держала маленький словарик по обыкновению (как видно, с ним спала). Она меня заметила. Как эта учительница просила у меня пощады жизни, думая, что я русская, не забыть мне никогда. Разница между нами была та, что я была еще на воле, а ее вели в «контору смерти». Я тогда думала про себя: «Дорогой мой друг! Завтра же я с тобой встречусь там же, ибо мне этот путь неминуем». Каждый раз полицаи ударяли прикладом старых женщин за медленный шаг их к месту смерти. Одна еврейка очень стонала и кричала: «Ой вей из мир, вус об их зих дерлебт»[36]. Зять взял ее на руки и нес недолго, ибо сам был уже бессильный. Довели до полиции (Короленко, 15). Вышел старший. Полицаи докладывают: «Что сделать с жидами?» Старший отвечает (он был не немец): «В «контору смерти» на расстрел!» И так я шла за ними до Лукьяновки.

Как я считала часы жизни. Каждый стук в дверь думала, что уже идут за мной. Мне только было жалко своих двух малышей, ведь они еще не знали жизни, притом недавно вышли из болезни. Я представляла себе смерть детей перед своими глазами. Ведь разбойники убивали детей в присутствии матери. Ах, как тяжела материнская мука видеть, как убивают ее детей. (Горько плачу.)

Я часто меняла базары, чтоб не узнали меня люди. Иду на базар Бессарабка. В будке, где когда-то продавали газеты, сидит старуха-еврейка и не может уже подняться. Прохожие дают: кто деньги, кто хлеб, кто сало. Пищу не принимает и кричит: «Иден, бней рахмунес, ратывет мих фун дем тейт»[37]. Ее выгнали из квартиры, все забрали, она в одних лохмотьях. А на дворе глубокая, холодная осень. Слякоть, брызжет мелкий холодный дождик, и она трясется от холода. Она рассказывает всем, что дочки и внуки ее уехали в гетто, а ее, одну старуху, оставили, и сильно на них обижалась. Назавтра я опять пошла смотреть, что стало со старухою, но она уже была мертвая. Окоченела от холода. Одна старуха скрывалась на чердаке целый месяц, запаслась сухарями и водой. Когда ее нашли и повели в «контору смерти», то всем говорила, что прожила лишний месяц. Осень. Холод. Вижу, сидит в Золотоворотском

[36] Ой, горько мне, до чего я дожила (*идиш*).

[37] Евреи, люди милостивые, спасите меня от смерти (*идиш*).

садике женщина лет тридцати восьми. Конечно, изгнана. Я за ней следила два дня, а потом ее не стало. Не дожить до такого времени, как мне пришлось видеть и переживать…

Мой уход из Киева. Все учителя после приказа боялись меня как огня. Боялись проходить по улице со мной, даже просили не встречаться с ними. Как было мне тяжело и обидно, что лишь вчерашние друзья, с которыми я проработала десять лет в одной школе, где вместе творили чудеса, а сегодня не хотят тебя видеть и помочь тебе в трудную минуту. Только одна русская учительница Вера Петровна Сухозанет, и теперь она работает в Киеве учительницей, с которой я много лет дружила, спасла мне жизнь. Она мне дала справку, где была другая национальность, русская, а все остальное осталось по-прежнему. (Все документы гитлеровской эпохи сохранились.)

Кроме этой бумаги, что дала, она же советовала немедленно оставить Киев, потому что сама боялась за себя. Я с особой болью в душе оставила Киев, любимую школу и свой родной дом. С двумя крошками в ужасную погоду пустилась в дорогу без куска хлеба и без вещей. На мне было летнее пальто и туфельки, ибо не успела ничего захватить с собой (соседи постарались). Ведь в Киеве я много лет училась, работала и растила чужих детей и своих. В Киеве прожила четверть века, а в школах проработала двадцать четыре года. Я отдала детям свою молодость и свою душу. Я всегда работала на двух сменах, только ночь заставляла расстаться со школой. Летом работала в лагерях. Детский звонкий голос был всегда мне приятен. Я никогда не уставала и не чувствовала усталости. Меня всегда можно было найти среди детей. Дети – это вся моя жизнь. К восемнадцати годам я уже заведовала большим коллективом детей. И вдруг я должна все оставить и идти искать себе пристанище. Но куда? Сама не знаю…

Дети мои шатались еще от болезни, и красные пятна были еще на лице. И рано утром в воскресенье мы тронулись пешком в путь. Светочка захватила свою любимую куколку, так было ей жалко с ней расстаться, а когда ручки замерзли, то мне отдала и сказала: «Мама, держи и не потеряй!» И думала тогда я: «Все это наделал враг человечества – людоед Гитлер». (Как больно вспоминать прошлое плохое.)

Что было со мной в дороге? Торбочка с кусочком хлеба, мой новый документ и двое малышей. По пути встретили подводу, и довезли нас до хутора «Мыло» в двадцати пяти километрах от Киева. На дворе слякоть, моросил мелкий дождичек. По пути очень смерзли и проголодались. На хуторе было несколько разбросанных хат. Зашли в первую. Нагрелись, и угостили нас печеной картошкой. Первый вопрос был: «Кто я? И куда путь держу?» Ответ: «Я погорела и направляюсь к себе на родину». А где эта родина, сама не знаю… Остаться ночевать было невозможно, ибо было тесно для его личной семьи, тем паче и для нас. В эту ужасную погоду поплелась я с детьми в село Спитки, но ни одна селянская хата не хотела принять нас на ночлег. В селах был приказ не принимать чужих, ибо это партизаны. Стою с детьми посреди поля, и коченеем. Куда идти ночевать? А тут надвигается темная, холодная ночь. Этот момент был хуже смерти. Наконец я зашла к бывшему председателю колхоза, женщина (горбатая). Просила продать молоко для детей – обещала позже, а пока у нас была возможность нагреться. Дети от усталости, холода и голода уснули, сидя на лавках. Вечером голова колхоза заявила мне освободить ей хату. И сколько я ее ни умоляла оставить нас на ночь, то не соглашалась. Бужу детей, но они не встают – спят очень крепко. Мой плач и просьбу услыхал старик-отец, который лежал на печке, а я сначала его не заметила. И он крикнул на дочь: «Нехай вона залишиться с дітьми на ніч. Ничого Гитлеру не стане»[38]. Тогда молодая принесла солому в кухню, и мы переночевали. Наутро дождь, а в селе непроходимая грязь, а я в одних туфельках. Выпроводили нас с богом, и пошли дальше. Почти все село прошла, и никто не желал впустить чужого человека, особенно с детьми. Все смотрели

[38] Пусть останется с детьми на ночь. Ничего с Гитлером не случится (*укр.*).

с каким-то недоверием на меня. Одна селянка мне сказала: «Мабуть жидівка? Из Киева, бо ти одягнена в длиному пальті, а діти в шапочках. Хоч розмовляэшь як наші жінки»[39] (вот ее заключение). Только в одну хату нас впустили, но я должна была предъявить свой паспорт старосте, а паспорт мой остался Гитлеру на память. Вижу, староста неграмотный, показала членскую книжку с фотокарточкой вместо паспорта. Староста нацарапал разрешение (дозвіл), что чесна людина и можно находиться в селе. Принесла эту бумажку хозяйке, и мы остались на пару дней, пока установится погода. В этот же вечер заболела старшая девочка ангиной. Валяемся на голой земле, а потом дали солому. Хозяйка не хотела держать меня с больным ребенком и выгнала нас на улицу. Из этого села шла дальше. Мы проходили необозримые советские поля, леса, луга и сотни сел, оккупированных фашистами. Сколько горя и муки я изведала в пути с детьми (не рассказать и не описать). И через несколько дней мы добрели до Житомира. По дороге встретилась с одним киевлянином, который жил в Киеве на Глубочице. Он шел в Житомир, чтобы выкупить из плена двух сыновей. Он мне рассказал, какое горячее участие он принимал в убийстве евреев в Бабьем Яру. Ежедневно приходил в Бабий Яр на помощь немцам, за это немцы давали ему барахло еврейское и харчи, что оставили евреи целыми кучами. Даже собрал там 43 тысячи советских денег, а теперь хочет выкупить своих сыновей. Я его спросила: «Вы довольны, что убили столько евреев?» Он так приятно улыбнулся и скоро ответил: «Очень рад этому случаю!» Я уже поняла, с кем хожу… Несколько километров ехали машиной. В Житомир приехали под вечер и пока дошли до квартиры моей сестры, уже было темно (Маловильская, 11). В квартире сестры переночевали, и там соседи рассказали, что ее заживо засыпали с ее семьей за сопротивление. С нами ночевал мой «хороший» спутник. Наутро зашла я напротив к соседке в номер двенадцать, к одной польке, сварить картошку для детей. У этой польки сын оказался тайным агентом, и он нас арестовал и свел в гестапо. О первом аресте я уже писала. В гестапо я узнала у арестованных, что в Покостовском лесу близ станции Коростеня находятся партизаны. Вышла из гестапо на улицу, мне было темно в глазах от непривычного света. Стою и думаю: «Куда идти?» Решила пойти в Наробраз[40], узнать, есть ли детские дома. Решила отдать детей в детдом, а сама пойти к партизанам в Покостовский лес. Так и сделала. В Наробразе узнала, что есть сиротский будинок[41] на Курбатовке. Когда я зашла в общую канцелярию, мне бросилась в глаза старая, закоптевшая икона и знаменитый портрет людоеда Гитлера. Так и сердце екнуло при виде работника с фашистскими флажками. Думаю, здесь нужно держать фасон. Низовые работники – украинцы. Главный начальник – немец. Детей моих не приняли, а ответили: «Если есть мать, то пусть мать и кормит». Там узнала адрес сиротного будинка. Взяла голодных ребят, и поплелись в конец города. Привела в сиротский будинок и просила заведующую переночевать, а завтра принесу справку о принятии их. Дом этот произвел на меня удручающее впечатление. Детей избивали, правда, там был настоящий сброд. От четырех до восемнадцати лет. При мне закрыли в погреб селянского мальчика за то, что украл деньги у воспитательницы. Он переночевал, закрытый на замок, и сильно испугался. Когда утром выпустили, то был как помешанный, от испуга. Дети мне рассказали, что немцы недавно забрали всех еврейских детей, увели и убили, а четырех еврейских мальчиков, лет по десять-одиннадцать, два дня тому назад повесили в саду сиротского будинка. Выдала их врач, которая работала там в доме. Я с ней познакомилась, и действительно, настоящая хулиганка. Она мне сказала, что жидов очень много и всех не перебьешь. На другой день просила заведующую принять детей, хоть оставить на пару дней, пока сама устроюсь, а тем временем ушла

[39] Наверное, еврейка? Из Киева, потому что одета в длинное пальто, а дети в шапочках, хотя говоришь, как наши женщины (укр.).

[40] Областной отдел народного образования.

[41] Дом (*укр.*).

в Покостовский лес к партизанам. Этот лес находился в пятидесяти девяти километрах от Житомира. В одном летнем пальто, в одних туфельках в сильный холод пошла. Детей своих дорогих оставила на верную гибель, но другого исхода у меня не было. Как я жалела, что не погибла в Бабьем Яру.

Дорога была мне незнакома, я все время блуждала. Наконец я попала в село Покостивка, а за селом, пройдя четыре километра, начинается лес. В селе остановилась и отдохнула. Пришла в лес и никаких партизан не видела. Долго я бродила по лесу, и уже при выходе под большим деревом сидели двое мужчин. Один совсем молодой, а второй постарше. Я их боялась. У меня сильно болела левая нога, ибо сидела в гестапо на цементном полу и простудила ногу.

Один меня спрашивает: «Що, бабка, кулигаеш?»[42] Я стала смелее и подошла к ним, так как услышала голос наших людей. Когда они спросили меня: «Чи е діти?», то я так сильно заплакала, что они сразу поняли, кто я… Они мне рассказали, что собираются уходить в Коростеньские леса, так как там находятся партизаны, а я далеко не уйду с больной ногой, и советовали вернуться к детям.

Возвратилась обратно в Житомир. В селе Покостивка я увидела школу. Селяне мне рассказали, что школа не работает из-за того, что нет учительницы. Поговорила с заведующим школою, он мне рассказал, что нужна учительница 1-го класса, и условия для учителя. Узнала все и через семь дней вернулась обратно к детям. Дети успели заболеть чесоткой, и покрылось все тело фурункулами у них от грязи и голода. В сиротском доме детей не оставляют. В школу боялась поступить, заведующий – сын попа, и кроме того, буду всем бросаться в глаза. Передо мною стал вопрос – что делать мне сейчас? Ведь зима приближается, и угла нет. Никто не впускал в хату. Хотела поступить в колхоз работать, но не принимали на работу. И решила уйти совершенно в противоположную сторону на Бердичев, там находится совхоз «Рея». Ушла. Долго я путешествовала пешком. Я проходила сотни сел (где дневовала, там уже не ночевала), но устроиться не могла. Время шло к зиме, и рабочая сила сокращалась. Наконец добрела до совхоза «Рея», он расположен в десяти километрах от Бердичева. Хотели принять меня на работу в контору и направили меня к главному агроному (узнаю, немец). Я ни слова и возвращаюсь обратно в Житомир, ибо боялась попасться ему на глаза. На обратную дорогу опять потратила неделю. Заведующий сиротским будинком страшно был недоволен тем, что каждый раз бросаю детей. Встречу с детьми не описать. Как они меня умоляли и плакали, чтоб забрать их обратно из этого сиротского дома. «Мамочка, ты не уйдешь без нас?» И следили за мной целый день. Я решила, если умереть, то все вместе. Взяла ребят и пустилась в путь-дорогу. В Житомире получила назначение в школу. Хоть имела назначение, но все-таки в школу не хотела идти – боялась. И думала, где будет возможность остаться, то останусь с детьми. Но никакое село не хотело нас принять, как будто мы пораженные. Сколько я выплакала, идя с малышами без куска хлеба из села в село (если бы собрать мои слезы, можно было в них выкупать человека). И так мы пришли в село Покостивка, как будто мне знакомое село. Во имя спасения детей я пошла работать в сельскую школу за учительницу 1-го класса. Мне дали комнату без печки с разбитым окном. Узкую железную кроватку. Солому достала. Через месяц мне сделали плиту, обещала сама уплатить. Были школьные дрова, приготовленные еще нашей властью на 1941/42 учебный год, но заведующий забрал их себе и не хотел давать, а спорить с ним не посмела. В 1941 году были страшные холода, и в этом холоде моя комнатка не отапливалась, так как не было топлива. У детей и теперь отморожены руки и ноги. Хлеба мы не видели более двух лет.

Причина была та, что Гитлер вывез весь хлеб, и села сами голодали. Целую зиму жили на одной картошке без соли. Не было горшка, в чем сварить эту картошку. Вода замерзала

[42] Что, бабка, хромаешь? (*укр.*).

в колотке. Не было, чем укрываться. Мы спали в пальто шесть месяцев, не раздеваясь, ибо ничего не было из вещей. Я покрылась вся чиряками, нас заедала нужда. Моя жизнь – это один кошмар. Не в силах человеческий язык передать все то, что обрушилось на всех евреев, особенно на меня. Небывалое в истории человечества: муки и страдания, причиненные Гитлером мне и всему еврейскому народу. Школа не работала. Не было учеников, книг и топлива, а я блаженствовала по такому случаю. Гитлер отвечал селянам, что ему не нужны ученые, ему нужны рабы, скот и рабочая сила. Он все писал, что Европа побеждает. После Нового 1942 года в школах был введен закон божий как обязательный предмет. Откуда во мне закон божий? Разве я когда-нибудь обучала? И сын попа (заведующий школой) сразу узнал, что я не русская (по-ихнему, православная). Была дана анкета, где нужно было ответить на некоторые вопросы. Главное, у Гитлера фигурировала и выпячивалась национальность. В сельуправе меня спросили, какого я вероисповедания. Чуть не ответила – иудейского, вместо православного. Аж было противно до слез, но надо было молчать. И сын попа – большой хулиган – начинает за мной следить. Кто я? Почему не признаю никаких праздников и даже не знаю их названия? Почему не хожу в церковь и не учу детей молиться? Все село уже знает, что я не православная. В воскресенье в последних числах мая 1942 года заведующий школой, сын попа (хромой на одну ногу), узнает в сельуправе, что есть новый гитлеровский «приказ»: кто выдаст жида, коммуниста, партизана и депутата Верховной Рады[43] – вознаграждение тысяча рублей, выдача продуктами по дешевой цене. И в этот же день является ко мне заведующий с полной уверенностью, что я еврейка и за мою голову получит тысячу рублей. Он мне начинает рассказывать, что так сильно любит евреев, что даже чуть не женился на одной еврейской учительнице. И тут же предлагает мне дать ему тысячу рублей, чтоб скрыть мое жидовство. В душе скребут кошки, а вида не подаю. Отвечаю: «Пусть беспокоится тот, кто относится к данной рубрике». Только обещала, что если пойду на родину, то принесу кое-что из вещей. Сколько подлостей я видела со стороны его по отношению ко мне, но должна была все молчать. Ведь наша жизнь была на волоске, а я все-таки не теряла надежды на то, что я скоро опять увижу наших и переживу еще Гитлера (и так оно и есть). Жена его всегда мне твердила, что ее муж, то есть заведующий школой, никогда не был советским педагогом, а работал в школах Советского Союза двадцать лет и все под маской. А когда пришел Гитлер к власти, то показал свое настоящее лицо. Как было больно видеть, что такие люди благополучно жили и живут (мало пишу о селе). Долго, скучно, сумрачно тянулись гитлеровские дни. Он не стерпел, что так долго не иду на родину, – пошел в Житомир и заявил, что в селе живет жидовка. Причина была та, что староста обещал дать мне справку, что проживаю в этом селе. А без печати эта справка недействительна, а печати еще не было у старосты. Настал наконец счастливый момент, и я получила от старосты бумажку с печатью. Был июнь 1942 года. Заведующий пошел в Житомир и принес мне отношение из Наробраза, что меня туда требуют. Сдал мне под расписку. Пошла в Житомир по вызову. Прохожу пешком пятьдесят пять километров, оказывается, это не Наробраз, а гестапо. Явилась, а уйти уже невозможно. Допрос мой длительный, мучительный и страшный. Гитлер все время обвинял меня в том, что родилась еврейкой. Но, живя сорок лет еврейкой, было гораздо легче, чем два с половиной года русской. Я, конечно, все отрицала, как в первый раз. Меня опять снимают и печатают в газетах и подают на розыск (сохранилась фотокарточка). Меня спросили, когда мой день рождения и когда мой ангел. Я ответила, что я Мария Магдалина, а не Мария Египетская. И еще другие глупые вопросы. В этот раз я была особенно спокойна и выдержана как никогда. Меня освобождают условно под расписку и личную ответственность, что должна представить им паспорт. Из Житомира босая, без куска хлеба, направляюсь в Киев к Вере Петровне Сухозанет за советом. От боли, досады и вол-

[43] Верховного Совета (*укр.*).

нения мое сердце сжималось, как лимонная корка на раскаленной мостовой. Шла пешком долго и томительно. Не видела даже света перед собой. Была довольно знойная пора, а мне хотелось лечь и больше не встать. Беспокоюсь сильно за детей. Перед моим уходом, еще в Житомире, я написала записку и адрес брата, который живет в Москве, и зашила в пальто старшей девочки. Просила ее: «Дочечка, когда придут наши, красные, то попросите кого-нибудь отправить эту бумажку в Москву, чтоб брат забрал детей, если останутся в живых. А я, быть может, не вернусь больше к вам. Будете жить без мамы и папы». Долго стояла и смотрела на них и горько плакала. Старшая девочка говорила мне: «Мамочка, вернешься и будешь жить с нами». А младшая все ласкала меня и не отпускала меня. Вырвалась от них и ушла. В селе Покостивка были также и друзья. Семья Мушинских, докторша, одна бабушка, сына ее забрали в Германию (глухой был и забрали). И эта бабушка приходила ко мне ежедневно с внучкой, шестимесячный ребенок, узнавать, когда будет конец Гитлеру. Им я и доверила своих детей. В Киев пришла утром и застала Веру Петровну дома. Жила она на улице Рейтерская, 25, кв. 3. Она не верила, что я жива. Осталась на ночь. В этот вечер я все ей рассказала и советовалась с ней, что делать и куда идти? После наших разговоров мне казалось, что она изменилась и как будто боялась меня. Ни до каких результатов не дошли. Вера Петровна в этот раз не могла ничем мне помочь. Рано встала, взяла некоторые вещи и ушла в село.

Город Киев в гитлеровское время. Грязный, унылый, безлюдный. Вместо роскошных цветов на улице везде картошка росла.

Одни зеленые шинели бродят с высокими кокардами. Угрюмые, скучные, голодные люди рыскали по Святошинскому шоссе с мешками, клумками[44] и повозочками по направлению к селам на обмен. Город плакал. Хотя я была одета, как селянка, и трудно было меня узнать, но все-таки одна мать моей ученицы узнала меня и остановила (немцы по фамилии Цоль – девочка ее училась у меня три года). Я, правда, боялась ее. На улице я дрожала, мне казалось, что следят за мной. Все люди казались мне врагами. Как я хотела видеть мой дом! Не пошла – боялась. В Святошине в доме отдыха когда-то жили, теперь немцы с семьями. Каждый имел отдельный особняк или дачу. С какой жгучей ненавистью я смотрела на них. Мне был противен их голос. На костях наших они строили свое благополучие. Они напились нашей кровью. Весь мир плакал, а они, палачи, злорадствовали. (Думала, скоро вам конец будет.)

Долго я смотрела на дом отдыха, в котором лишь недавно там отдыхала. В 1940 году меня премировали за хорошую работу, а теперь я нищая, бесправная, беззащитная.

Я – живой труп. Идя, я задавала себе вопрос: «И когда уже наши придут?» Мне как будто кто-то в душе отвечал: «Скоро-скоро». И я подбавляла шагу. Через семь дней я вернулась обратно в село.

В селе за время моего отсутствия решили, что я настоящая жидовка и меня повесили в Житомире за обман. А детей моих собираются вести в город. Они плачут, рыдают и не соглашаются идти. Всем говорят: «Наша мама скоро вернется. Непременно придет к нам» (и детское сердце не обмануло детей). И вдруг я являюсь в село. Все выбежали смотреть повешенную, лишь тогда убедились, что действительно русская. Трудно описать нашу встречу. Мы плакали от радости, что опять вместе. Всю ночь не спала, хотя была очень усталая. Я думала только, на что Гитлер тратит свою культуру, свой ум, свое время и чем он занят? На поиски одной беззащитной еврейки. Село успокоилось, а я работала на полевых работах. Школу оставила – не хотела больше работать. Настроение ужасное, предчувствие плохое. На сердце лежит тяжелый камень. После работы я и дети собирали колосья пшеницы. Мелю на зерна и варю детям галушки с водой без соли вместо хлеба и картошек – нет денег, чтоб

[44] Большая сумка, тюк (*укр.*).

купить пуд картошек (150–200 р. за пуд). После уборки урожая в последних числах августа (во вторник утром) приходит ко мне заведующий и предлагает мне ехать в какой-то район за вапном[45] для побелки школы. Я отказываюсь, так как уже не буду работать. Последнее время начал заискивать за кожаное пальто мужа, что одолжил у меня навсегда. Иду по селу собирать щепки, чтоб детям кое-что сварить, уже одиннадцать часов утра, а дети еще не завтракали. Вижу, едет большая, прекрасная немецкая машина и подъезжает к сельуправе. Я так и поняла, что за мной. И действительно, три гестаповца и один переводчик. Переводчик чехословак. Староста был тогда в Житомире, а в управе только один писарь из начальства. Гестаповцы потребовали меня и заведующего школою. Писарь указал на меня, что вот она идет. Слышу, зовут меня: «Котлова! Котлова!» (я бросаю щепки и направляюсь к ним). Первое, что мне бросилось в глаза, их значки на грудях (череп и две кости). Два раза была арестована и просиживала на допросах дни и ни разу не заметила этих значков. Один гестаповец вытащил мою фотокарточку и показывает остальным и говорит: «Да, это она! Зараз ей капут». Пробует винтовку – хорошо ли стреляет. Вся эта картина происходит на улице около управы. Все село сбежалось смотреть, как будут меня казнить. Я держусь стойко, но селяне говорили мне потом, что была бледна, как смерть. Один гестаповец говорит мне: «Садись в машину». И хотели увезти меня на поле и там убить. Собираюсь садиться. А первый все твердит: «Капут!» (мол, зачем с ней возиться). А мое сердце предсказывает: «Нет, сволочи! Палачи, изверги, не убьете меня! Буду жить и еще долго жить». Переводчик настаивает на том, чтоб меня опросили в присутствии заведующего школой. Первый все кричит: «Капут!» Он же велел сделать мне несколько шагов и два раза выстрелил. От близкого звука я прямо оглохла. «Будешь говорить правду. А если нет, то сейчас убьем». Я спокойно отвечаю: «Я вам все время говорила правду». Про себя думаю: «А вы живете правдой?» Все обман. Так обман за обман. Кровь за кровь. Смерть за смерть. И вспомнила мудрые слова нашего великого Сталина. Только была рада, что дети не увидят смерть матери. Долго они разговаривали и решили сделать допрос в сельуправе в присутствии заведующего и людей села. Зашли все и я. Все сели, а я стою. «Покажите документы!» Я показываю. «Покажите свидетельство по окончании педагогического института в 1930 году». Там указано, где я родилась, кто я такая. Переводчик посмотрел на фотокарточку, что была на свидетельстве, и показывает гестаповцам и говорит: «Смотри, какая ты была здесь, а теперь ты настоящая старуха». Я думаю про себя: «Это вы сделали меня такой, мерзавцы!».

«Сколько мне лет?» Ответ: «Тридцать девять». Тогда третий наконец, еще молодой, все время молчал, а теперь сказал: «Моей матери пятьдесят два года, но она не такая старая, как ты» (то есть я). Я молчу. Потом показала свой новый документ вместо паспорта. На справке было написано: 1938 года выдано и по национальности русская. И тут они остановились и долго размышляли. Ведь в 1938 году была советская власть, и зачем мне было менять национальность? В то время все евреи жили очень хорошо, и, по-ихнему, советская власть – это власть жидов.

Спрашивают заведующего, знает ли хорошо, что я юда? Он отвечает:

«Может быть, другой национальности, но не православная». Почему он так уверен? Заведующий отвечает: «Она не знает закона божьего, названия праздников, не ходит в церковь, не учит детей молитвам». Переводчик отвечает: «Это пустяки, если не знает или не хочет!» Потом начали спрашивать общину, что я за женщина? Голова І колгоспу пан Шевченко ответил, что я не еврейка (что я звичайна людина – ну, наша людина – православная). Одна старуха дала такое определение: «Разве евреи люди? Хіба така, як вона жидівка? Вона же звичайна жінка»[46]. Одним словом, моя жизнь была на весах, и думалось: «Какая же

[45] Известка (*укр.*).

[46] Разве еврейки такие? Она [выглядит как] обычная женщина (*укр.*).

чашка весов перевесит?» Потом был задан вопрос с упреком: «Почему у меня нет паспорта в течение двух лет?» Я ответила, что в селе все живут без паспортов. А про себя думаю: «Не хочу вам, разбойникам, показаться на глаза. Ваш паспорт мне противен, как вы, немцы! Я со дня на день жду наших мужей и братьев». Они мне сказали, что должна поехать в Житомир к райбургомистру за паспортом. Если еще раз попадусь к ним без паспорта, то убьют. Я говорю: «Зачем убивать? Ведь я всегда у них в руках и никуда не уйду». (Куда спрячешься от палачей?) Я просила выдать мне справку, что три раза арестована, но гестаповец отвечает: «Достаточно то, что возвратили мне документы и жизнь». А переводчик добавляет: «Особенно жизнь…».

К вечеру уехали. Я вышла от них не своя. Вернулась домой, дети уже спали на знаменитой кроватке. Сначала уснула от переутомления и волнения, а потом думала, как оставить это село? И какие меры принять? Пошла к Мушинским и узнала, в каких местах находятся сахарные заводы. Разузнала. Назавтра под предлогом, что надо ехать в Житомир за паспортом, ухожу в м. Андрушовку (Андрушовского р-на Житомирской области). Прихожу, заводы там не работают. Направляют в Червоное, еще дальше (и все время надо ходить без куска хлеба). За неделю ходьбы – стала чернее черного. Чувствую, что нет уже сил бороться (безвыходное положение опять у меня). Первый месяц осени. Тепло. В Червоном на сахарном заводе принимают, но общежития не дают. Квартир нет, не принимают чужих, боятся. И, поступая на завод, необходим паспорт, а у меня его нет. Опять плохо. Куда ни положишь больного, все ему плохо. Нет, не решаюсь. Лучше в совхоз среди селян. Я уже к ним привыкла, лучше панов. Совхоз этого завода (свекловичный) находится в селе Яроповичи Андрушовского р-на Житомирской области. Иду туда. Работы очень много, и нужна рабочая сила. Принимают, но общежития совсем нет. Проработала два дня в совхозе. Условия ужасные. Кушать нечего, жить негде. Ночую в сарае. Работа с утра до темного вечера на поле, скирдовать высадки буряка. Для меня непосильный труд, ибо сама бессильна, едва ноги тащу. Расчет за работу зимой по двадцать килограммов зерна за трудодни. Селяне имели свое хозяйство и свою хату, и то не могли существовать, а я? Ни кола, ни двора. Как же я могла с детьми существовать? Это такая гитлеровская плата за человеческий труд. Гитлер бросал прокламации в начале войны: «Вы, селяне, служите советской власти за кило половы». Ему невыгодно было видеть зажиточную жизнь села при советской власти, он, Гитлер, тянул из села все готовое заранее. Сознательное селянство боролось против Гитлера, как мы. За детей сильно волновалась. Мне казалось, что гестапо придет в село и заберет детей вместо меня. И решила определить детей в киевский сиротский дом, там работала моя бывшая заведующая детдомом. Когда была студенткой, то работали вместе. (Звали ее Александра Гнатьевна Ершова.) Мы когда-то были хорошими друзьями, и думала, что в трудное время выручит, и считала, что она вполне советский человек, но оказалось совсем другое. Когда пришла в Киев, исключительно к ней в сиротский будинок (Белицкая, 3), там сейчас специальный детдом для детей фронтовиков, конечно, ее уже там нет. Захожу к ней в комнату, вижу, на кровати висит икона (Божья матерь). В столовой висели иконы, и дети стояли на коленях, молились Богу, а она впереди и тоже молилась. В этот момент мне стало что-то страшно при виде ее в таком положении. Мелькнула мысль, быть может, и она была двадцать три года под маской? Не ошиблась я. Когда я ей задала вопрос: «Александра Гнатьевна! Я вас не узнаю» (недавно собиралась вступать в партию). Она мне с насмешкой отвечает: «Эмилия Борисовна! Какая власть, такая масть». Очень жалела, что пришла в Киев к ней за помощью. Даже боялась остаться у нее ночевать и пошла к Вере Петровне. В этот раз ходила по улицам смелее. Прошла по улице Ленина, даже остановилась возле Академии наук и смотрела на свой дом, в котором прожила столько лет. Думала про себя, что буду опять жить в Киеве. Была на ул. Кирова напротив Первомайского парка, там, где жила моя сестра. Эвакуировалась в 1941 года с детдомом (счастливая она). Пошла на Подол, там смотрела квартиру вто-

рой сестры, тоже эвакуировалась с учреждением (вторая счастливица). На минутку ожила при виде своего любимого города. Скоро вечер, и нельзя будет ходить (движение до девяти часов вечера). Поспешила к Вере Петровне на ночлег. Впустила меня и заперла меня, так как там жила наша бывшая учительница английского языка, а муж ее работал в управе, то Вера Петровна не хотела, чтоб они знали, что ночую у нее. Всю ночь советовались из-за паспорта, ничего не выходило. На рассвете ушла обратно к себе в село. На четвертые сутки была у детей. Много приключений имела в дороге. Что я видела, что я слышала, что я пережила, не напишу. (Не способна все изложить на бумаге, если бы родилась бы талантом или каким-нибудь гением, то тогда было бы иначе.) Придя в село, я спешила обратно уехать с детьми, ибо остаться в селе невозможно уже было. На мое счастье, из Житомира приехали спекулянты с машиною. Упросилась, и нас взяли в Житомир. Детей опять сдала в сиротский будинок, так как заведующий был уже знакомый. А сама пошла в село Яроповичи нанять хату для детей и поселиться на зиму. С большим трудом я наняла хату у одной старушки. Пошла опять в Житомир за детьми. От Житомира до села Яроповичи пятьдесят километров. Из Житомира шли пешком, по дороге встретила машину, и доехали до села. Первые дни пошла на полевые работы к селянам (копала картошку). Через две недели нас выбросили на улицу. Причина была та, что старшая девочка заболела на свинку, и бабушка требовала у меня пятьдесят рублей на дрова, а денег у меня не было. Начинаю ходить по хатам. Бывали дни, что нас не хотели впускать даже в сарай. Положение ужасное. Идет к зиме. Наконец поселились к одной молодой женщине, вторая хата от церкви (Анна Перепечева), обещала ей золотые горы. Анна эта – настоящая Вера Чибиряк (дело Бейлиса). Там я все уже почувствовала. Моему горю не было конца. От голода, холода, нужды заболели обе девочки и должны умереть. Сколько бессонных ночей выплакала, сидя возле них. Скоро являются ко мне староста и комендант села и требуют меня в сельуправу. Староста добивается все время, где работал мой муж. Отвечаю, что на бойне. Он мне отвечает, что все жиды работали на бойне. А комендант говорит: «Ларчик просто открывается». Значит, мы жиды. (Муж мой военный был почти всю жизнь.) Через некоторое время выздоровели дети. Я объявила всем, что я известная портниха. Все селяне боятся меня, чтоб не украла то тряпье, которое дают перешивать, ибо очень нуждаюсь. Шью руками, все грубое, на вате. Шью долго, с терпением. Через некоторое время убедились, что очень честная жинка, даже возвращаю грубые крестьянские нитки, которые остаются на клубке после шитья. За труд принимала все, что давали, лишь бы накормить голодных детей. И так прожила целую зиму 1943 года у этой Анны. Я вся была опухшая от голода. Дети до того иссохли, что на них лица не было. Они светились, как восковая свечка. Настала весна, опять пошла на полевые работы к селянам (садила картошку). Потом староста заставил пойти садить картошку под плуг. Работала мало на колхозном поле, ибо за труд не оплачивалось. У крестьян, когда работала, то давали хоть покушать, и домой для детей принесу похлебку. На мое несчастье приезжают к хозяйке Анне гости из Киева, и я должна была оставить эту хату. Заставили освободить опять угол, что занимала. Опять плохо, нет угла, но не страшно было, ибо шло уже к весне. Долго валялась с детьми на земле, где попало. В прекрасный день меня впустила другая селянка, Марина Машталер. Там моя чаша горечи переполнилась. Восьмилетнюю Мери послала в пастушки. Она пасла пять свиней и двенадцать поросят. Уходила в пять утра в поле и приходила в девять часов вечера. Селяне ее кормили. Младшая завидовала старшей, но никто из селян не хотел принять на работу шестилетнюю Светлану. Светлана горько плакала, что Мери ест, а она голодает. Как было отрадно видеть, что Мери делилась последним. Что даст ей хозяйка, спрячет и вечером принесет домой и отдаст Свете. Часто предлагала и мне: «Бери, мама!» Я чувствовала, что растет мне защита. Недаром я столько намучилась, чтоб спасти им жизнь пока. И так проработали мы целое лето (я с детьми на поле от зари до зари). Света белого не

видела. Староста и комендант зорко следили за нами. Продолжение следует[47]. Пишу поздно ночью при коптилке.

Киев, 13 января 1945 г.

[47] В архиве Ильи Эренбурга в «Яд ва-Шем» хранится материал для «Черной книги», дополнительно посланный писателю Э. Б. Котловой 29 сентября 1945 г. (Р. 21.1/35, лл. 7–14): списки людей, спасавших евреев в Киеве и Житомирской области, и фамилии спасшихся. – *И. А.*

Города и местечки Украины

Мальчик из Бердичева
Рассказ Хаима Ройтмана

[48]

Меня называли Митя Остапчук. А я Хаим Ройтман. Я из Бердичева. Мне теперь тринадцать лет. Отца убили немцы, маму убили. У меня был младший братишка Боря. Немец его убил из автомата, у меня на глазах убил… Страшное дело, земля двигалась!

Я стоял на краю ямы, ждал – сейчас застрелят. Подошел ко мне немец, щурится. А я ему показываю: «Смотрите – часики». Там, на земле, стекляшка блестела. Немец пошел, чтобы поднять, а я кинулся бежать. Он за мной и строчит из автомата, картуз продырявил. Бежал я, бежал и свалился. Потом не помню, что было. Подобрал меня старик, Герасим Прокофьевич Остапчук. Сказал мне: «Ты теперь Митя, сын мой». У него семеро своих, я стал восьмым.

Пришли как-то немцы пьяные, стали кричать. Заметили, что я черный. Спрашивают Герасима Прокофьевича: «Чей?» Он говорит: «Мий». Они ругаются, что он врет, потому что я черный. А он им спокойно отвечает: «А потому, що вин вид моей першой жинки. Вона цыганка була».

Когда освободили Бердичев, я пошел в город. Нашел моего старшего брата Яшу. Он тоже спасся. Яша большой – ему шестнадцать лет, он воюет. Когда немцы уходили, Яша нашел подлеца, который убил нашу мать, и застрелил его.

У могилы родных
Судьба евреев местечка Чуднов Житомирской области

Пять тысяч пятьсот человек местечкового населения, преимущественно стариков, женщин и детей, зверски замученных и истребленных, зарыты в ямах на территории Старого и Нового нашего родного Чуднова и его окрестностей[49].

Из рассказов очевидцев я узнал: первой жертвой был духовный раввин местечка восьмидесятилетний старик Иосиф Яковлевич Мосук, это было 8 сентября 1941 года перед вечером (кажется, в пятницу). Над этим божественным стариком издевались таким порядком. Заставили надеть богомолье, предложили двум соседкам-старушкам водить его по улице об руку, со свечами в руках, как к венцу, и под аккомпанемент резиновой нагайки немецкого палача Запевайло старушки были вынуждены петь, проходя по всему местечку до садика, где после так называемых церемониальных издевательств первая указанная выше тройка была убита и зарыта в одну яму там же в садике, над ямой поставили деревянный крест. Осмелившись, одна девушка, кажется, по фамилии Чирашнер, тайком сняла крест, за что все же немедленно поплатилась молодой жизнью.

Первое массовое истребление населения, учиненное немецкими извергами, было 9 сентября 1941 года. Через так называемых специальных посыльных Эли Шермана и Нуты Зильбермана было созвано и гестаповцами согнано в помещение кинотеатра будто для отправки на работу до девятисот человек, а оттуда битком набитыми на грузовых машинах отвозили в парк. На первой машине едет Лазарь Харитонович (никто еще не знал путь сле-

---

[48] См.: ф. Р. 21.1/114. Машинопись. Рассказ использован в очерке Вас. Гроссмана, опубликованном в «Черной книге».

[49] В Чуднове погибло около двух тысяч евреев. См.: *Холокост на территории СССР*. Энциклопедия / Под ред. И. А. Альтмана. 2-е испр. и доп. изд. М.: РОССПЭН, 2011 (далее – *Энциклопедия*). С. 1081–1082. – *И. А*.

дования машины), а он, размахивая шапкой и кланяясь, кричал: «Еду на верную смерть, но за идею!» Что он этим думал, конечно, как умалишенного не поймешь. Машина сделала не менее сорока оборотов из кинотеатра в парк, а там люди строились в очередь к заранее приготовленным ямам. Над каждой ямой лежала узкая доска, к этой доске длинной очередью не менее пятисот человек медленно, еле удерживаясь на ногах, продвигались окаменевшие люди. В одной из этих очередей в тот день стояли рядом моя любимая мать, тетя Сура, ее дочь и, прижавшись к ним, брат жены Янкель с узелком хлеба, ведь он собирался на работу. По приказу палача люди ступали по одному на доску, каждому была вслед послана в затылок разрывная пуля, после чего летели черепа с волосами и цеплялись на ветвях сосен и брызгами разлетались мозги, а туловища быстро проваливались в яму. В ожидании своей очереди Лиза Гнип (дочь сапожника Янкеля-Симхес), не доходя до ямы, разрешилась от беременности, немецкий палач грязными своими руками отрывает ребенка из утробы матери со всеми ее внутренностями, хватает новорожденного за ножку, ударяет его головкой о ствол старой сосны, так пробуждая жизнь новорожденного, бросает младенца к расстрелянной матери в общую яму.

Так была истреблена первая партия, притом для большего коварного издевательства на сей раз истреблялись не полностью семьи, а обязательно муж или жена или часть членов семьи. Издевательству над оставшимися временно живыми не было предела, в плену у коварных фашистов бродили черные, заросшие, исхудалые тени от непосильной работы и голода. Заставили мастеровых ремесленников шить, перешивать, изготовлять из награбленного для нужд палачей. Изверги издали приказ, что мастеровые не будут убиты как необходимая рабочая сила, и предложили оставшимся вдовам, желающим сохранить себе жизнь, выходить замуж за мастеровых. Все это делалось, конечно, насильно. И, примерно, жена Фуки Ульмана тут же после того, как его убили, расписывается с Нусей Британ, так как его жена была уже убита, и тому подобные принужденные связи. Вест Мойше-Мейер, оставшись один после убийства семьи, не выдержал и сошел с ума. Вот он бегает по Чуднову черный, заросший, как зверь, исхудалый и все что-то разыскивает. Он не один с ума тронулся, такому примеру последовала жена Либова. Невестка Арона Килуп красиво наряжается и идет к эшафоту с громкими песнями и пляской. Старик Шмил-Дувид из Гуральни надевает богомолье и, не ожидая вызова, идет сам в парк к яме и тому подобные случаи.

Второе массовое убийство было примерно 15 или 16 октября 1941 года[50]. На сей раз убит мой отец, он все время прятался от этих разъяренных зверей, три дня стоял в воде, лежал в ямах и погребах и полуживой уже был подобран комендатурой, его еще заставили обслуживать несколько дней немецкую комендантскую прислугу, а потом был прибит. Сапожник Лизогуб из выгона долго его поддерживал питанием. Я специально к нему сходил и отблагодарил за предсмертные услуги моему отцу. Тогда же была убита жена Янкеля Фрейдл с тремя невинными детками. Рассказывали мне, что Фрейдл, окутанная в белый платок, несет на руках малышку, за руку ведет пятилетнюю девочку, а за подол юбки ее держит восьмилетний Фима. Палач толкает ее в плечо, чтобы быстрее шла, а она говорит: «Ну, я ж иду». И так она с детьми пошла в последний путь. В тот день на машине ехали в парк Янкель Барштман, держа на руках Димку, мальчика Сарры, рядом с ним стоит его жена Шейндл и держит закутанного трехнедельного ребенка – мальчика Сарры, а сама Сарра или, вернее, скелет ее, стоит, прислонившись к ним, и так они поехали на убой. Палач берет трехнедельного малыша, подбрасывает его ногой, наподобие футбольного мяча, и в воздухе расстреливает его. Такие трюки и подобные даже фотографировались немецкими извергами. К яме подводят девятнадцатилетнюю красавицу-девушку, учительницу, дочь Блюдого Ицыка – Ханыс. Солдаты заставляют ее раздеться наголо, распустить ее длинный волос. Сами не

[50] 16 октября. – *И. А.*

могут налюбоваться такой красотой, выводят ее из очереди, предлагают ей одеться и уйти, оставляя ее в живых. «Цурюк!»[51] – кричит немецкий хищник. Она же упорно отказывается, требует немедленной смерти, чтобы успеть занять место рядом с родными, тогда разрывная пуля отбивает ей верхнюю часть черепа, которая вместе с пушистым золотистым длинным волосом летит в воздух и попадает на ветви сосны и долго там висит, пока не была унесена куда-то бурей.

Третье массовое убийство, завершающее, так сказать, было в середине ноября 1941 года[52]. На сей раз были уничтожены восьмидесятитрехлетний любимый всем населением врач Либов с его маленькой дочкой, доктор Френкель с семьей. Вот ведут этого красивого старика Либова, который на своем веку спас тысячи жизней, он бросает по всей дороге записки «спасайте, спасать», но его спасла от немецкого рабства та же разрывная пуля, и мозги этого ученого человека, как и остальных врачей, разлетелись на сучьях сосен и долго там сушились, пока их развеяло ветром. Доктор Либов в ожидании своей очереди, не доходя до ямы, произносит речь на русском и немецком языках. Он сказал: «Я был большевиком и умираю большевиком». Первая пуля, посланная ему в затылок, не попадает в цель, он еще успевает обернуться и говорит: «Ну так что, коль стрелять, так стреляйте прямо».

С населением закончено почти, подбираются остатки, даже горбатая Хума, Янкель Элис с ребенком и муж ее калека, неплохой сельский парень, говорит: «Если убиваете мою любимую жену и ребенка, убейте и меня». И вслед за ними бросается в яму, где его убивают. Двенадцать больших ям я насчитал в парке, но их там еще больше, – которые заглажены землей и снегом, и уже не определить места. Но не только здесь зарыты эти несчастные. Они лежат на территории старо-нового местечка и его окрестностей. Семьдесят восемь человек Нового Чуднова лежат там же, недалеко от центра, на скале лежит Мойше-пампушка, который с криком: «Слушайте, слушайте, у меня десять детей» – выскочил на ходу из машины, удрал до скалы и на бегу был убит. Лежал долго труп Аркы Тутиныкера на тютюновской дороге. Он в 1942 году пал мертвый, заеденный нуждой. Зарыт под Красногуркой убитый лишь осенью 1943 года Мошко-Ханыс, он бродил по полям и был замечен этими хищниками. Сидит в Гвоздяренском лесу над потухшим костром замерзший и заросший, как зверь, Гоендек. Не доходя гуральни[53], на мостике были убиты в конце ноября месяца 1943 года Арон, который возил брагу, его жена и мальчик.

А Рузя Фурман, эта славная девица, Рузя не далась в руки немцам, она в компании с Пупой Баршман в погребе дома Барштмана повесились и долго, долго там висели, пока жильцы дома не заглянули в погреб, там же найден мертвый мальчик, должно быть, Пупы Барштман. Рузю закопали возле дома, среди местечка. Вечный ей покой. Ука Гильштейн со своим прекрасным ребенком долго бродила по полям Янушпольского района и там погибла. А Люся, дочь ее, осталась каким-то чудом жива. Итак, они погибли все, нет больше этих хороших еврейских сапожников и портных [*нрзб.*], которые по субботам отдыхали в этом самом парке, где лежат они и сейчас.

Я был у могил всех родных, близких и знакомых. В тот день была ужасная вьюга. Я припал к одной из ям, я слушал маму свою, которая шептала: «Киндер майне, киндер майне»[54]. Этому шепоту вторили вечнозеленые сосны, все ниже и ниже наклоняя свои ветви, сосны рассказывали, как на их ветвях долго висели черепа и сушились мозги. Да, не сомневайтесь, в этом случае эти сосны, как живые свидетели, говорят. Несмотря на зимнюю пору, и Тетерев не замерзал почему-то в этом году, в нем еще клокочут потоки крови, которые стекали

[51] Назад (*нем.*).

[52] 22 октября. – *И. А.*

[53] Винокурня (*укр.*).

[54] Дитя мое (*идиш*).

ручьями с камней парка и не дают ему замерзать. За эти два с половиной года скалы по обеим сторонам Тетерева сильно поднялись и заросли мхом. Уже темнело, когда я быстро продвигался из парка к тому месту, где когда-то было жилье всех этих убитых, но, увы, двести сорок восемь домов убитых немцы совсем разобрали, а теперь представьте себе эту местность, все улицы слились вместе, и трудно мне было установить дом моих родителей, одни груды камней и глины.

Да, мои дорогие все!

Это не легенда про царя Ахашвероша и его министра Амана, я Вам описал краткую быль о злодеяниях и зверствах гитлеровцев в одном только небольшом местечке. Так наводил Гитлер новый порядок в Европе, то есть в нашем Чуднове.

15–16 февраля 1944 г.
Сообщение П. ЗОЗУЛИ[55]

Местные петлюровцы перебили всех евреев В местечке Медведин Киевской области

[56]

Уважаемый т. Эренбург!

Я слышал, Вы пишете книгу об убийстве евреев во время оккупации немцами нашей территории. Я хотел бы Вам сообщить об одном факте избиения евреев, о котором мне написал отец. В одном маленьком местечке Медведине Киевской обл. (в 35 км от Корсунь-Шевченковского) осталось несколько еврейских семейств. За несколько дней до прихода немцев местные петлюровцы[57] перебили всех евреев до одного, предварительно невероятно поиздевавшись над ними и разграбив, конечно, все их имущество. Когда немцы пришли и узнали об этом, они главарей избиения… расстреляли (очевидно, за то, что они осмелились сделать это «неорганизованно», и за то, что они забрали себе все, а не оставили им), а остальные удрали. Я боюсь, что вот эти бандиты, которые вынуждены были неожиданно для самих себя удрать от немцев, которых они, вероятно, ожидали и встречали с радостью, теперь будут считаться борцами за родину. Петлюровцы Медведина имеют солидный стаж избиения евреев. В 1918 году там был чуть ли не первый погром на Украине, в 1920 году там было восстание против советской власти, и тогда там убили мою сестру, случайно приехавшую туда в гости.

Было бы неплохо о вышеизложенном факте сообщить куда следует.

Простите, если отвлек Вас от Вашей работы, но хотелось поделиться с человеком, который принимает близко к сердцу человеческое горе, а Вас я считаю таким человеком.

Всего хорошего. Желаю много здоровья и сил.

А. Кармаян
Полевая почта 33457 […]
Ноябрь [1944 г.]

[55] Д. 960, лл. 85–86 об., 89–90. Автограф П. Зозули.

[56] Д. 960, л. 100–100 об. Автограф.

[57] Украинские националисты.

В местечке Пятигоры Киевской области
Воспоминания Раисы Зеленковой

[58]

Погода была солнечная. Я, как и каждый день, сижу за работой и сортирую книги по алфавиту в библиотеке. Вдруг слышу испуганный голос молодого читателя, Вани Клебанского: «Ты ничего не знаешь? Бомбят Киев! Всем нужно явиться на митинг!» Его слова были сказаны дрожащим, испуганным голосом. Как-то не верилось, я все же решила закрыть библиотеку. Через десять минут я очутилась на Загребенке, где происходил митинг. После митинга молодежь пошла в клуб. Это было последнее наше гулянье; по вечерам было уже запрещено ходить. Через недельку началась эвакуация других районов области. Днем и ночью двигались сотни, тысячи людей, и все успокаивали нас, что фронт от нас еще очень далеко. Я решила обратиться к директору совхоза, чтобы он обеспечил выезд. Директор оказал нам всем помощь. Я, как и остальные семьи, получила пару быков. К этим быкам были прикреплены еще десять душ. Мы начали готовиться к отъезду. У меня были четыре метра мануфактуры, я продала их и стала собираться в дорогу. Каждому хотелось забрать необходимое. С нами, взрослыми, были и маленькие дети. А это значило, что быками вообще нечего пытаться вырваться в такую даль. Мой отец совсем отказался от поездки.

– Мне, – говорил он, – шестьдесят семь лет. Работаю с одиннадцати лет. Чего мне бояться? Ты, – обратился ко мне отец, – ты – комсомолка, ты спасай свою жизнь, а мне бояться нечего.

Но я решила остаться с отцом. Мой брат Воля также стал большим хозяином; у него тоже пара быков. Но между братом и соседями вышла драка. Они решили также отставить поездку. Время настало очень тяжелое. С каждым днем мы ожидали чего-то серьезного. Тем временем эвакуированные двигались машинами и лошадьми, нас же они все успокаивали, что фронт еще далеко.

Но ждать «гостя» было недолго. 16 июля 1941 года появились две немецкие танкетки. Быстро проехали через центр местечка с криком: «Бефрейт ди Украине!» («Украина освобождена»). Все замерло, как будто в местечке не было живого существа.

Через несколько минут обе танкетки промчались обратно. И вот 19 июля началось немецкое движение. Немцев встречали бывшие жены и дети участников банд 1918 года. Например: Матрена Тасевич – жена бандита, Мария Кравченко – жена врага народа; Гордий Ищенко с радостью кричал во всю глотку: «Я вас, братцы, ждал двадцать три года». Таковы были и другие немецкие подхвостники. Через несколько дней появились гестаповцы. Началось наведение внутреннего порядка в селе. Был издан приказ сдать оружие. Закотынский, заведующий мельницей, не сдав оружия, скрылся. Комендант издал приказ: встречающихся на улице евреев арестовывать. Были арестованы: Аврам Стрижевский, Буня Клоцман и жена Закотынского. 31 июля их расстреляли как заложников, а жена Закотынского спаслась.

После этого староста села, Мазурак, объявил: всем евреям немедленно носить повязки – шестикутную[59] звезду на правом рукаве, на видном месте. Со слезами мы принялись за рукодельную работу – вышивать звезды. Я решила лучше умереть, чем носить презренную ленту. Так как мой муж был русский, я обратилась к старосте. Староста дал мне справку, освобождающую от ношения ленты. Я была счастлива этим документом. Спустя некоторое

---

[58] Д. 944, лл. 61–93. Машинопись с рукописными вставками и правкой. На экземпляре машинописного текста указано: «Отредактировано А. Эфросом. Подлинник у Эренбурга» (д. 944, л. 84). В одном из документов ЕАК указаны инициалы автора – «Р. Л.» (д. 945, л. 44), а в фонде Эренбурга в «Яд ва-Шем» – полные имя и отчество: Раиса Леонидовна (Р. 21.1/223). – *И. А.*

[59] Шестиконечная (*укр.*).

время все еврейское население было забрано на работу, в совхоз, для уборки хлеба. Месячный заработок – шесть килограмм. Работали со страхом, не зная дней отдыха. На правой руке – лента, которая доказывала за километр, что работают евреи. Среди этой работы полиция Тетиевского района приезжала нас грабить. В то время я работала на поле. Я набралась смелости, бросила работу и пошла прямо в местечко. Подхожу к машине, стоит высокий блондин – мерзавец – это был комендант. Я ему подала свой документ. Он меня ударил по плечу и говорит: «Бери себе кое-что из вещей». Я проговорила: «Данке шон» («Спасибо»). Он велел мне на дверях поставить крест с надписью: «Бефрейт фон бетрайбунг» («От реквизиции освобождена»). Я его поблагодарила и продолжала смотреть на эту трагедию: все абсолютно выносят из квартир. Машина тронулась. Я пошла на работу.

После тяжелой работы шли домой к голым стенкам. Нечего надеть, и нечем укрыться. И вместо того чтобы дать отдохнуть, нас заставляли картошку чистить, мыть полы для офицеров.

28 августа, придя с работы, получили приказ из сельской управы: мужчинам, с четырнадцати лет, явиться к девяти часам в школу на собрание. Я стала уговаривать отца, чтобы он скрылся, ибо предчувствовался какой-то обман. Всю ночь мы не спали и толковали все об одном, что надо куда-то уходить. Папа не соглашался. Утречком на дворе был большой туман. Папа встал, помолился Богу и говорит: «Ну, Рая, дай мне чистое белье. Если суждена смерть, так пойду чистым на тот свет».

Я с ребенком также начала собираться в путь.

– Куда ты собираешься? Скажи хотя бы, где ты будешь?

У меня сердце сжалось от жалости к отцу, и я ответила:

– У меня два пути. А, между прочим, если кто-нибудь примет, то побуду там до вечера, пока выяснится.

Я сделала шаг вперед и хотела уже уйти, но в эту минуту папа открыл шкаф и говорит:

– Вернись, вот здесь, в черном чулке лежит семьсот рублей, заработанных моими старыми руками. Если возвратишься живой с ребенком, бери их себе.

Я заплакала и вышла из квартиры. Иду – и так жалко стало: почему не поцеловала отца? Но возвратиться уже было нельзя, начало рассветать. И я ушла. В это туманное утро я в последний раз видела своего старенького седого отца.

В этот день были убиты семнадцать душ, в том числе и мой любимый отец. Трудно было думать, что этот старенький ударник сапожной артели пошел на такую страшную смерть.

Помчались тяжелые месяцы, мы продолжали работать. Настала глубокая осень. Солнце стало меньше обогревать всех этих несчастных, оборванных, голых людей. Начали готовиться к зиме. По несколько семей жили в одной квартире. В это время у меня на квартире были две девушки, которые спаслись от немцев в Черкассах. Соня Островская писалась Надей Иванченко, Таня – Ильенко. Работали они вместе с украинским народом и не подавали виду, что они еврейки. После работы собирались мы вместе и разговаривали, как обычно, по-еврейски. Но враг не спит. Однажды вечером мы собрались у моего брата Зали. Были тут и Надя и Таня. Фанас, сельский полицай, узнал весь секрет. В эту ночь стучит к нам в дверь. Покуда я открыла дверь, он ее уже высадил и все кричит: «Ты сама скрываешься под этим крестом, так еще будешь скрывать жидов!» И давай бить посуду и мебель. Была зимняя, холодная ночь. Мы выскочили, голые и босые, убежали к моему брату.

Наутро я заявила начальнику полиции. За хулиганские выходки Фанаса отправили в жандармерию. Там ему всыпали двадцать пять шомполов, и он еще заплатил сто рублей штрафу за то, что Гохман, начальник жандармерии, утомился. Но Фанас на этом не успокоился и продолжал свою работу. Мы решили, все три, уходить из местечка. Разговоры кругом были очень плохие. Мы все ожидали, что будет что-то серьезное. Но уходить с ребенком

было невозможно. Я решила окрестить свою дочь, поскольку муж мой русский, и оставить ребенка крестной матери. Мой план был принят девушками. Таня и Надя принялись мазать, а я стирать. Вдруг заходит ко мне один хороший знакомый Иван Павлович Гречаный.

– Раечка, этими днями вам надо скрыться, ибо будут убивать всех остальных. Есть такие разговоры.

Мы бросили работу, собрали некоторое барахло, поменяли на продукты и начали большими темпами готовиться к крестинам. Я взяла пшеницу и пошла на гитлеровскую мельницу.

Вечером наша тройка начала думать, кто ж будет крестным отцом и кто крестной матерью.

– На мою думку, – говорю я, – крестным отцом будет староста села, ибо у него немецкая печать, а крестной – жена доктора – она бездетная. Итак, мои дорогие, вы можете меня поздравить. Дочь у меня крещеная. Носит на шее большой крест, который подарил ей сам поп. Теперь нам остается только достать хорошие документы.

Долго мы мучились, пока дождались гостя, моего крестного. Таня водку подливает, Надя закуску приготовляет.

А я крестного обнимаю и тихонько печать вытаскиваю.

И вот крестный повалился, храпит на всю квартиру. Тут двери на крючок, канцелярия работает вовсю. Таня секретарем, а я, как староста села, ставлю только печать.

Написали шесть справок с копиями – откуда, год рождения, национальность. Ну, известно, по национальности все – украинки.

Крестный проснулся, когда дело было сделано.

25 апреля 1942 года полицаи окружили село. Пригнали евреев к сельской управе. Дивчата были на работе и успели скрыться. Я с ребенком тоже скрылась. Пошла к своей крестной, чтобы оставить дочку, а сама решила отправиться в свет.

Вечером я узнала о том, что бездетных и молодежь забрали в концлагерь в местечко Буки. Не успела я дома отдохнуть, как заходит ко мне начальник полиции – В. Шепута. «Почему удрала, – кричит, – немедленно явиться к восьми часам вечера в полицию». В эту ночь я была арестована с ребенком. Утром пришел начальник полиции и стал меня допрашивать, куда я дела Надю и Таню и по какой дороге они ушли. Я указала другой путь, по какому им не пришлось идти. Начальник звонил по всем полициям, чтобы арестовать таких проходящих. Долго он меня мучил: «Имеешь ты счастье, – говорит, – что у тебя ребенок, а то бы я тебя послал в Буки».

И вот я снова на воле, продолжаю работу в совхозе. Жизнь моя была очень тревожная, я как-то предчувствовала большое горе, но никак не могла решиться покинуть ребенка и скрыться. Все успокаивала себя тем, что еще успею побродить по свету. Разговоры шли очень плохие, говорили, что везде уничтожают евреев. Но уходить никто не решился, ибо в чужом селе было бы еще хуже.

14 ноября 1942 года к нам наехали полицаи. Остановились ночевать в школе. В местечке стало очень тревожно. Я над этим крепко задумалась. Вечером зашла к брату, там собрался еще соседи, все были тревожные. Мы разошлись по домам. Но разве кто мог спать в такую ночь? Прижимаюсь к ребенку все ближе и думаю: «Неужели нашей жизни конец? Неужели для того, чтобы нас расстрелять, надо шестьдесят полицаев. По-моему, хватит своих двенадцати собак?» Уставшая, я крепко уснула. «Мама, – слышу я голос ребенка, – кто-то стучит!» И правда, кто-то тихонько стучал. Я открыла дверь. Передо мной стоит Ваня Правук – полицай: «Ну, Рая, бери свою дочку, и пойдем со мной». – «А что, уже все есть?» (догадалась я сразу). – «Никого нет, тебя только вызывают». – «Ванечка! Будь товарищем, иди скажи, что меня нет дома, а я пойду в свет». – «Нет, – говорит, – меня послали, я должен привести!» – Я проговорила:

В воскресенье очень рано
Колокольчики все бьют,
А меня с дочкою
На смерть уже ведут!

– Почему ты так думаешь? – спросил полицай. Я ничего не думаю, я просто предчувствую. Не доходя до полиции, я открыла портфель и порвала справку. Захожу в полицию – сидит вся жандармерия, открывает мне камеру, где были уже евреи. Маня Алетка – моя душевная подруга, очень мне обрадовалась. Так же и я ей. Погибнем вместе! «Да, – ответила Маня, – только вместе!» Я вынула свои стихи и стала читать вслух. Вдруг открывается камера: нас вызывают по семьям и куда-то отправляют. «Зеленкова», – слышу вызов. Я беру дочку и выхожу. Полицаи куда-то меня ведут. Заводят в большой дом Гребенюка. Там я уже застала несколько семейств. Был тихий солнечный мороз. День пришелся базарный. Я сижу у окошка и смотрю: у меня с квартиры все выносят и тащат скорей на базар.

К нам прибавляются евреи. Приблизительно в четыре часа дня открывается дверь и вводят переводчика Юнга, который работал у Шефера. Юнг отличался от нас всех. Его сапоги блестели, как зеркало. На нем была хорошая шинель, на левой руке часы. Он ничего не говорил, шагал по камере, часто смотрел вниз и курил душистые папиросы. Медленно шагая по комнате, он взялся рукой за черный свой чуб и тихо прошептал: «Все!» Мы его поняли. Поднялся плач в камере, как когда-то в праздник Йом Кипур в синагоге. Полицай открыл дверь и позвал Юнга в коридор.

Долго они его там мучили. Разговор Юнга был слышен нам в камере: «Шинель свою я вам не отдам! Я отдам там, где нужно будет!» С этими словами он вошел в камеру.

– Да, – говорит нам Юнг, – завтра нас поведут на расстрел! Давайте, девушки, пойдем на расстрел вместе! Мы должны погибнуть героической смертью! Не надо ждать!

Мы согласились. Вечер был лунный. Луна освещала всех этих бедных замученных людей. Кругом была тишь, и эту тишину боялись нарушить. Все, как заколдованные, молчали. Эта красивая погода была не для нас. Для нас это были последние минуты наслажденья и только… А там – там сырая могила. Ночь показалась очень длинной, спать никак нельзя было, только был слышен плач маленькой девочки, которая просила воды. Она кричала всю ночь. На ее крики паразиты не обратили внимания.

– Пан полицай, – кричала мать, – дайте, пожалуйста, немного снегу, жара невыносима!

Ее слова звучали попусту. Разбойники не сочувствовали сердцу бедной матери.

Вот уже рассветает. Гохман подал команду полицаям: стать в два ряда. Открыли камеру, мы попали в окружение. Маня Алетка держала меня и мою дочь за руку. Маня все толкает мою дочечку, чтобы она одна хотя бы спаслась. Но только успела моя дочечка проскочить, как один мерзавец вернул ее обратно. Я слышу голос моей девочки: «Мамочка! Подожди меня! Где моя мама?» Снова идем все трое. А впереди нас идут брат с семьей и Манина мать с четырьмя братиками. Привели нас в парк, в МТС, в длинный сарай, где подали команду: «Раздевайся до нижнего белья!» Юнг моргает нам, Маня толкает меня, мол, пора идти. «Еще успеем, Маня. Каждая минута дорога». «Нет, – кричит Маня, – если от нас уходит такой цветок, как Юнг, мы должны вместе погибать! Ведь как ты будешь смотреть на братскую кровь?» Я не согласилась. Юнг вынул свои права и фото, снял шинель, вынул расческу, расчесал чуб. Дал себе команду: «Раз, два, три, – выставил ногу и крикнул, – стреляй, я готов!» Грохнуло пять выстрелов, и Юнга не стало. Маня крикнула:

– Рая! Матери моей уже нет.

Братики взялись за ручки, подошли к Мане, поцеловались и, сказавши: «Прощай», – ушли. Рядом со мной стоит моя шестилетняя девочка и просится на руки. Я беру ее на руки, но быстро опускаю – сил нет.

Очередь подходит к нам. Я стою перед [*пропуск в тексте*]. В кармане у меня было пятьсот рублей. Я кинула их полицаям и крикнула: «Пейте нашу кровь!» В это время снимаю платье, стою в черной рубахе. Моя дочь стоит от меня в нескольких метрах и кричит: «Пан Гохман, я не жидовка, я не умею разговаривать по-жидовски!».

Идем, дочка, вдвоем погибнем, вместе! Я начала сбрасывать туфли. В то время мелькнула мысль: Надо проситься! Не верится мне, что я должна погибнуть. Ведь я еще молодая, и впереди еще очень многое. Я начала просить: «Я хочу жить, я молодая, мой отец украинец, я не еврейка» (*Ich will leben, ich bin jung. Mein Vater ist Ukrainer, und ich bin keine Judin*).

– Кто у тебя здесь есть? – спрашивает Гохман. Я показала рукой на бедную свою девочку, которая непрерывно кричала. Он велел нас отправить в полицию. Я взяла ребенка, в глазах все чернело. Я попросила немного снегу. В это время Гохман крикнул: *Zuruck!* (Назад!) Я очень испугалась. – Бери свое пальто! – приказал он. Я поблагодарила, и меня увезли в полицию. По дороге я думала только об одном: кого я поставлю в свидетели и кто пойдет на такую ложь!

Ведь свои собаки знают, что я неправду говорила. Но ничего, успокоила сердце. Двадцать минут буду жить, покуда доведут до полиции, а там, покуда еще начнется допрос, я все же еще хоть немножко поживу на белом свете, подышу свежим зимним воздухом еще немножко, услышу хоть голос вот этой маленькой крошки, которая склонилась на материнскую грудь и крепко спит и все всхлипывает.

Вы слышите выстрелы? Мани уже нет! В полиции сидели две маленькие девочки. Обе блондинки. Голубыми глазками смотрели на меня, как будто бы разыскивали своих погибших матерей. Их тоже оставили потому, что их отцы были русские. Вот так бы и сидела беспомощная, никому ненужная моя девочка, – мелькнула у меня мысль. В это время открывается дверь и вводят Маню.

– Маня, неужели ты еще жива? Неужели это ты? Ты же была совсем раздета!

– Постой, Рая, еще не все… Если бы не свои собаки, можно было бы крутить, а так не удастся. Но все же мы дышим свежим воздухом, а наши братья и сестры в это время кончаются!

– Встать! – крикнул полицай. – Жандармерия идет!

Показался Гохман. Шинель его была в крови и в мясе. У полицаев сапоги были красные от крови, как будто кожа красная. Тарацанский – обер-лейтенант, Побыл – член жандармерии, Куравский – районный начальник полиции – сели за стол.

Я вела себя спокойно, держалась вольно, временами улыбалась своей дочке, которая проснулась от большого шума. План был у меня давно уже намечен. Обер-лейтенант подозвал меня к себе, к столу, на котором стояла пишущая машинка, и говорит мне: «Если у тебя есть три четверти юде и одна часть украинка, сейчас тебе будет капут, а если наоборот, ты будешь жить».

Начался допрос: «Чем вы можете доказать нам, что ваш отец украинец?».

– Я, Зеленкова Раиса, родилась в 1912 году. Мать моя была жидовка. Ее муж также был жид, но он в 1907 году поехал в Америку. В нашей квартире была сапожная мастерская, где работали украинские люди. В то время пока мамин муж был в Америке, мама жила с одним украинским работником этой мастерской. Мамин муж, Лейба Клетер, узнавши, что мама ему изменила и имеет ребенка от украинца – то есть меня, – не хотел даже приезжать домой. Мать говорила мне об этом, когда я была уже взрослая. Лейба Клетер воспитывал меня очень плохо. Мать старалась отдать меня замуж за украинца, я и сама стремилась. В

1934 году я вышла замуж за украинца, но от тяжелой болезни мой муж, Зеленков Василий Иванович, умер и оставил меня с дочкой.

Обер-лейтенант говорит: «Об этом есть у вас свидетели?».

– Свидетели будут! – сказала я.

Вызывают Маню Алетку. Она начала как-то крутить. Немцы сделали перерыв и вышли курить. Маню кто-то выдал. Гохман велел Мане выйти на двор. Там была приготовлена подвода. Он сажает ее на сани, кладет лопату и заходит за мной. «Ну, – говорит он ребенку, – ты *zuruk* (назад), а ты *komm* (иди)!» Лида начала кричать. Я выпросила еще полчаса, пока вызову свидетелей. Гохман согласился.

Когда Маню привезли к свежей могиле, которая была еще свежая, чуть засыпана, кровь выступала поверх земли, а земля все еще поднималась от живых засыпанных людей. Мане сделали маленькую ямочку поверх этой могилы. Лежа в этой ямке, Маня обратилась к Гохману, чтобы он ей дал прожить еще пять минут. Гохман вынул часы и говорит: «Ну, что, нажилася?» Тогда Маня стала просить еще десять минут, но когда Гохман услышал это, он озверел и взялся за карман. Маня крикнула: «Пусть живет товарищ Сталин!».

Гохман дал Мане разрывную пулю, и Манин череп разлетелся на кусочки. Как зверь возвратился Гохман ко мне и спрашивает, есть ли у меня свидетель. «Скоро будет», – говорю. Боже, – думаю я, – почему меня сразу не убили? К чему мне столько горя перенести? Но кто ж пойдет ради меня на смерть? Если бы не свои собаки, можно было бы выдумать еще кое-что.

– Ладно, – говорит Гохман, – мы пойдем обедать, а ты вызывай свидетеля!

Все же думаю – может быть, я еще буду жить! Немцы ушли на обед. Я осталась с Лидой. Заходит ко мне писарь сельской управы Михайлова Галя, бывшая комсомолка, учительница.

– Галя, – обратилась я к ней, – надо сделать так, чтобы хотя бы одну меня спасти! – Галя согласилась.

Действовать надо очень быстро, притом – незаметно. Я вызываю Гречаного Ивана Павловича, надо с ним поговорить толково, чтобы наши слова сошлися. Запрягли лошадей. Молодой полицай поехал за Гречаным. – Надо спасти одного человека. Вы ее знаете. Вы работаете в ихней квартире, в мастерской.

– Раечку? – крикнул Иван Павлович. – Готов. Пойду на смерть или на жизнь! – Быстро кони помчались, навстречу появилася Галя, попросила к себе в кабинет Гречаного. Она все ему пояснила. Когда Гречаный показался в дверях моей комнаты, я стояла на коленях над своей сонной дочкой и горько плакала. Гречаный мигнул мне, и по его сморщенным щекам покатились слезы. Он вышел. Я быстро сделала веселый вид. Жандармерия вошла.

– Ну что, есть свидетель? – спрашивает… – Скоро будет! Через минут пятнадцать заходит Иван Петрович. Я не смотрю на него. Гречаный повторяет все мои слова и добавляет очень ценный для меня материал: «Я работал в Америке с Клинером Лейбой, на одной фабрике, и когда я обратился к нему, предложил поехать вместе домой, он мне ответил: «Как мне ехать домой, если моя жена от какого-то украинца имеет байстрюка[60]…».

Все присутствующие засмеялись. Я тоже засмеялась. Обер-лейтенант, который печатал эти слова, принял серьезный вид, не понимая эту фразу. Галя постаралась ему пояснить. Гречаный вышел.

Вызывают писаря сельской управы, Ситника З. И. Он говорит: «Ее отца совсем не знаю». Вызвали Слободяника Ф. К., который работал также в сельской управе. Он повторил те же самые слова. Тогда меня спрашивает, где я училась, в какой школе, украинской или еврейской? Я вызвала свидетеля, Бачиньскую Одарку, которая подтвердила, что мы вместе

[60] Незаконнорожденный (*укр.*).

учились в украинской школе. Вызвали коменданта полиции. Комендант тоже подтвердил, что моего отца он совсем не знает. Он только крепко знает, что я была замужем за украинцем.

Лишь тогда я почувствовала, что буду жить. «Ну, – говорит Гохман, – пойдем к тебе на квартиру». Побыл и Гохман пошли со мною. У меня в квартире ничего не было. Все забрали жандармерия и полицаи. Гохман приказал прийти мне в половине третьего в полицию. Я стала гадать: убежать или же пойти? Начала советоваться с соседями – и решила пойти. Прихожу туда. Гохман говорит, что я опоздала на час: «Мы хотели отдать тебе вещи, придется тебе ехать в жандармерию». Приезжаю я в жандармерию. «А ну, идите за мной, только быстро, по-немецки надо шагать!» – крикнул полицай. Все, – думаю, – попалась! Ноги совсем не идут. Заводит он меня в кладовую, где лежат все еврейские вещи: «Ну, – говорит Побыл, – собирай свои вещи!» Если бы я не была испугана, я бы могла выбрать свои вещи, а я попросила отдать мне только постель. С этим я уехала домой.

Привыкать к новой жизни было очень тяжело: близких никого нет, а кругом враги издеваются. Одни ихние разговоры не дали мне спокойно прожить: «Ее оставили, чтобы она еще погуляла недельку». Не раз приходилось проклинать свою жизнь. Уж лучше было бы мне перенести тот страшный момент, когда вели к расстрелу, чем сейчас мучиться, переживать холод, голод и страх. Прошло десять дней со смерти всего еврейского народа. Я решила взять на квартиру одну женщину с ребенком, чтобы было не так страшно, – Поганенко Марию. В двенадцать часов дня 28 ноября заходят ко мне Фанас Коробков и начальник полиции Шепута В. Проверяют документы и арестовывают нас обеих с детьми. Фанас ведет меня и кричит: «Ты уже больше не будешь просить по-немецки, – сегодня я тебя сам убью. В двенадцать часов дня я у тебя нашел жидовку». Зашли в управу, нас посадили в камеру. Шепута позвонил в жандармерию. Заходит в камеру Фанас и спрашивает, как самочувствие? и все хвалится, что сегодня он меня сам цокнет.

Вечером Шепута пришел, открыл камеру и велел мне идти домой. Дома ночевать я не решалась. Пошла ночевать к одной знакомой. Встала утром и, проходя мимо комендатуры, где работал мой знакомый, постучала в дверь.

– Ты, Рая, девайся куда хочешь, всю ночь тебя искали! Даже там, где ты ступала ногой год тому назад, и там были. У меня в погребе и на чердаке искали, говорили: найдем, на месте расстреляем, – сказал Гриша Шуляк.

Куда идти, что делать! Пошла я в совхоз. Вижу – стоит управляющий, Кондрат Иванович Дяченко. Я обо всем ему рассказала. Он повел меня в контору и позвонил к Шепуте. Я стою и вся дрожу. Рабочие все спешат на работу.

– Да, да, я, Кондрат Иванович. Слушай, Шепута, мне говорят, что как будто ищут снова Раю… Нет, я не знаю, где она. Я просто заинтересовался, кто вызывает? Жандармерия! На когда? На двенадцать? Ну, всего хорошего, Шепута! – И Кондрат Иванович положил трубку. – Так вот, Рая, ты не спеши уходить на чужие села – спасайся здесь.

Я пожала ему руку и пошла к той же самой хозяйке, где ночевала. Хозяйка приняла меня и велела мне лезть на печку. У этой хозяйки я побыла две недели. Дальше жить у хозяйки было невозможно, ибо материально жила она очень плохо. Я решила написать к моей знакомой, которая работала в комендатуре. Я очень обрадовалась, когда вечером Нина принесла мне кое-какие продукты. Вечером Нина попросила меня к себе ввиду того, что Германа нет. Я пошла. «Хочешь видеть Люсю Безналенко? – говорит Нина, – она здесь у меня; сегодня ночью ее берут в Германию, она пришла ночевать ко мне». Увидев Люсю, я очень обрадовалась. «Вот где, – говорю, – батраки встречаются!» В это время Нина куда-то вышла. «Уходите быстро! – открывши двери, крикнул кучер. – Полиция идет сюда!» Не успели выскочить с квартиры, как раздались выстрелы. И когда очутились мы на квартире, хозяйка не могла у нас ничего узнать. Я упала на постель, где лежала моя бедная девчонка, и обливала ее горючими слезами. Люся стояла недвижима, как смерть. Мы поняли, что это

проделка Нины. Никакой полиции не было. Страх, голод и грязноту терпеть было невозможно. Завтра пойду в жандармерию и скажу: «Делайте, что хотите».

– Дочь я еще оставлю у вас. Если я не вернусь, приручите ее к ее крестным! – обратилась я к хозяйке. Долго мы еще лежали вдвоем и дрожали.

Утром на рассвете Люся меня проводила в районную жандармерию. Прихожу во двор жандармерии, стою и думаю, идти или не надо? Как страшно!.. Нет! Пойду – не могу я больше мучиться! Я постучала в дверь. – Вы до кого? – спрашивает меня девочка. – Я к Побылу. – Подождите здесь. – Через десять минут Побыл меня позвал к себе.

– Пан Побыл, я была в гостях в соседнем селе. Прихожу вчера домой, и мне говорят, что жандармерия меня вызывала. Вот я и пришла.

– Вы теперь нам не нужны. Мы вызвали вашу квартирантку и узнали, что она не жидовка.

Я сказала: *Auf wiedersehen* (до свиданья) и вышла из комендатуры. Быстро и бодро шагая, я шла домой. Ведь кого мне сейчас бояться? – Самую жандармерию обманула! – думаю себе. С радостью встретила я свою дочь, которая скрывалась еще на печке. Прихожу домой – моя квартирантка меня не пускает. На дворе глубокая осень. Дождь идет, холодно. Я стою с ребенком и вся дрожу. Позвала меня соседка к себе. Не успела я обогреться, заходит туда мой «друг», Фанас Коробков. «Ты чего здесь сидишь? А ну, пойдем со мной, я тебе покажу, где твоя квартира!» И с этими словами закладывает патроны в винтовку. Я иду и слышу крик соседки: «Фанас, голубчик, не стреляй ее у нас!» Заводит он меня в мою квартиру и говорит: «Вот здесь будешь пока ночевать. А завтра видно будет». И все еще старается меня пугать. В квартире я ничего не застала. То, что жандармерия мне отдала, Нина уже забрала.

Настала зима. Топлива нет. Укрыться нечем. Кушать нечего. Днем я хожу по чужим квартирам греться. Я в одну квартиру, а Лида во вторую. Есть люди хорошие, дадут покушать; есть такие, что даже не пустят в квартиру. Вечером иду искать свою дочку, и мы возвращаемся в холодную квартиру, где стены усыпаны брильянтами от мороза. Много горя было пережито в эту холодную зиму.

В эту злосчастную пору я имела возможность встретиться со своими близкими соседями – Ханой Шварц, с девушкой Хаей Каган, с дочкой Шурой у моего спасителя, Гречаного Ивана Павловича. Это была не встреча, а прощанье, ибо каждую минуту я находилась в руках фашистских разбойников. Так вот с евреями виделась я несколько раз.

Настала весна. Снег тает. Солнышко поднимается выше, на душе стало веселее. 5 апреля, в воскресенье, в три часа дня, заходит ко мне полицай Яремич Иван и поздравляет меня, что я осталась жива. Я его поблагодарила. Он посидел немножко и ушел. Через час заходит он снова в пьяном виде и арестовывает меня, говорит, что меня ожидает новый допрос: «Тебя вызывает жандармерия».

– Ваня, золотко, идите, скажите, что вы меня не застали дома, а я пойду куда глаза глядят. Ох, боже! Неужели я должна проститься со светом? Неужели я в последний день вижу солнышко? Один Бог и люди знают, как пережила вот холодную и голодную зиму, и вдруг снова допрос. Пан Яремич! Неужели вы не отец своим детям, как вы можете терпеть крик вот этой маленькой измученной девочки?

Он вложил патрон и крикнул: «Два шага вперед!».

Он привел меня в полицию, запер в камеру, а сам звонит в жандармерию. Через пять минут он открывает камеру: «А ну, бери свою дочку, идем со мной на улицу. Только знай, если убежишь, я буду стрелять!» Я упала и больше ничего не слыхала, а когда пришла в себя, вижу рядом свою бедную девочку, которая сильно кричала: «Мама, мама!».

Пришел начальник полиции, начал допрашивать, кто арестовал. Я указала на Яремича. Яремич занял мое место в камере. – Эх, так это за политуру ты хотел уничтожить мою жизнь?! – проговорила я Яремичу. Я ушла домой.

На второй день вызвали Яремича в жандармерию, сняли с должности полицая, дали двадцать пять шомполов за то, что самоуправно арестовал меня. Долго я не могла успокоиться после этого ареста.

15 апреля я пошла на работу в совхоз, на высадки. Я разбрасывала буряки. Бригадир стоит с каким-то незнакомым человеком, который, прикуривая, смотрит на меня. Где-то далеко раздается эхо песни, а работа кипит. Я стараюсь набрать побольше буряков и все обращаю внимание на этого молодого парня, а он не спускает глаз с меня. Вот и звонок. Работа кончилась. Ко мне подходит молодой незнакомец и говорит: «Если хотите, идите медленно, я вас нагоню». «Хорошо, – ответила я, – я жду вас!» Я начала думать: «Неужели бригадир ему сообщил, кто я? А вдруг он какой-нибудь фашист и может меня выдать». Но все же я решила его ждать. Быстро он меня догнал. Подает мне руку и говорит: «Меня зовут Петя Богуслав». – Очень приятно! Меня звать Рая, – отвечаю ему.

По дороге он ничего серьезного не сказал, только спросил, откуда я и можно ли ему зайти вечером.

– Вы семейный? – спрашиваю я. «Да, – говорит Петя, – у меня жена здесь живет». Что за откровенность, – думаю, – ведь все мужчины обычно при встрече с молодыми девушками – холостяки? Я крепко задумалась. Он ничего больше не говорил. Нас разделяла дорога. Ему надо было [*пропуск в тексте*].

«Так что можно к вам зайти вечером?» – «Пожалуйста!».

Я хотела уже было уйти. Он продолжал мне жать руку и говорить: «У нас с тобой, Рая, один путь в жизни – при встрече будем говорить».

Иду и думаю – никак не могу понять его! Вечером он пришел, но ненадолго, куда-то спешил. Он мне сказал, что работает объездчиком в совхозе и ему предстоит работа.

«Завтра встретимся!» На другой день мы встретились. После работы он зашел ко мне. Я начала рассказывать, как я спасла свою жизнь, но еще скрывалась от него.

«Да, – говорит он, – вы пережили очень много, я о вас уже слышал кое-что. Наконец, не стесняйтесь меня, говорите откровенно, как я вам уже говорил, у нас один жизненный путь». При этих словах он меня поцеловал. «Рая! Мне надо секретаря!» Я все поняла. «Хорошо, – говорю я, – поскольку я не пишу красиво, я вас познакомлю со своей подругой. Она работала пионервожатым при школе, это Фаня Курсанивська».

– Хорошо, собираться будем у тебя после работы.

Парень этот был командир партизанского отряда – Петр Волков. Первые прокламации под названием «Воззвание» писали у меня на квартире. Были они вывешены в совхозе и по Топтевской дороге. Наутро мы пошли на работу. Все узнали, что есть новости, и когда мы подошли ближе к совхозу, мы увидели, что Петр Богуслав стоял и читал вслух листовку. Работу продолжали у меня – готовили листовки на три села: Пятигоры, Ралайки, Ненадыха. А когда жена Волкова Богуслава стала следить за ним, мы решили перенести работу в лесок, за совхозом Азаровец. Там работа продолжалась.

1 августа началась чистка оставшихся евреев по всему району. Подбирали до единого всех, даже выкрестов. Для меня настало время тяжелое, но все же я себя успокаивала, что успею еще скрыться. 1 августа я была арестована Яремичем и отправлена в пятигорскую полицию. Завели в темную комнату. В потемках я нащупала какой-то ящик. Я села, взяла ребенка на руки и горько, горько плакала: «В эту темную ночь я прощалась с тобой, моя доченька; я больше не увижу тебя. Меня убьют, меня больше не будет в живых. В последний раз я слышу голос твой, ты зовешь меня. Идут… Слышишь, доня, идут! Прощай, прощай, меня уже нет! Ох, как страшно, как хочется жить?!» Шаги остановились. Уморенная, я скло-

нилась на ребенка и крепко уснула… Ох, мамочка, ты? Родная! Ох, как хорошо, что ты со мной! Мне приснился сон: снова я за решеткой, жду смертную кару. А почему, мамочка, у тебя такой праздничный вид? – Сегодня, доня, большой праздник, а ты не знаешь? Дай мне твою руку, я тебя поцелую. Не плачь, не плачь, я приду! Я не забуду тебя, нет, не забуду!

– Проснитесь, ребенок плачет, а вы спите.

Я открыла глаза, передо мной солдат. – Ох! Какой приятный сон, видеть свою мать. – А где ваша мать? – спрашивает солдат. Я ему передала разговор. – Солдат! Смотрите, вон кошка, она вольно ходит по улице, ее никто не презирает, а я сижу и жду подводу к Гохману. Ох! Если б я могла быть кошкой! – Ну, – открывает камеру полицай Черненко, – собирайся, есть подвода!

Дорога к жандармерии промчалась очень быстро. И быстро я очутилась в камере.

– Пан полицай, – обратилась я к Черненко, – доложите переводчику, что я прибыла и прошу сделать допрос. – Переночуешь, и так узнают! – ответил мерзавец.

Очень долгий был день, а еще длиннее была ночь. Все арестованные говорили, что меня ожидает машина в Белую Церковь. Были случаи, что арестованных евреев отправляли туда на расстрел. Наутро полицай открыл камеру, вслед за ним пришла переводчица Рита Литке:

– Ты чего здесь, Рая? Что с тобою? – Еще один раз, – говорю, – делай допрос! Я вызову свидетеля, может быть, я спасусь?! – Что за допрос? Говори, как попала сюда? – Жандармерия позвонила: «Как, я? Сейчас иду к Гохману!».

Через минут двадцать приходит она обратно: «Бери ребенка, иди домой!».

Неужели это правда? Я иду домой…

И вот я снова спокойна, проверена жандармерией.

20 августа ко мне зашел Фанас Коробков и два немца, присланные женой Волкова по поводу розысков его, Петра, который скрылся. Жена Волкова направила полицая с немцами ко мне как к жидовке, которая была связана с ним.

– Ну, ладно, если надо будет, мы еще придем.

Настали дни тяжелые. Уходить с села не решалась. 25 августа я пошла к Нине в комендатуру – узнать кое-какие новости о себе. Вдруг заходит комендант: «А ну, *komm mit mir* (идем со мной)», и показал на низ, чтобы я его подождала. Через двадцать минут я уже была дома. Моя маленькая дочка была как раз дома. «Быстро, доня, собирайся, нам надо уходить. Нас хотят расстрелять… Бежим куда глаза глядят!» Я быстро открыла свой секрет, вынула все стихи и листовки и подалась на Буденновку. Солнце садилось за горизонт. Погода стояла очень хмурая. На дворе темнело, и слегка накрапывал маленький дождик. В такую погоду я подалась в дорогу, не зная, что ожидает меня в следующем селе. Дорога была незнакомая. Я начала волноваться. Благодаря лаю собаки я узнала, что недалеко село. Когда я пришла в село, был уже совсем вечер. Переночевала я у одной знакомой. «Скажите, – обратилась я к хозяйке, – не знаете вы, где работает кузнец Василий Кравец?» «Он у нас работает, в колхозе № 2. Утречком я вам покажу». Утречком, чуть на рассвете, я подалась к Васе. Вася был мой хороший знакомый. При встречах с Васей мы делились мнениями. Вася не раз говорил, что мне грозит опасность и мне надо будет уйти из нашего села. Поэтому я решила обратиться к Васе. Когда я с ребенком появилась на пороге у Васи, он понял, в чем дело. «Сегодня после обеда мы с тобой уйдем. Мы пойдем, как одна семья. По дороге отвечать встречающимся буду я». Мы сделали большой крюк, пришли в село Ключки, когда стало совсем темно. Дальше идти было невозможно.

Мы попросились к одной хозяйке на квартиру. «Ну, заходите, – сказала хозяйка, – у нас вечером запрещено ходить». Я думала, что это полиция запрещает и что я опять попалась. Но хозяйка продолжает: «Днем они в соятниках, а ночью ходят по улице с гармошкой и едут по каким-то заданиям, а утром отдыхают». Вася сидит рядом со мной и меня подталкивает.

Мне стало ясно, что это есть партизанское село. Я почувствовала, что я снова народилась на свет, что я лишь начинаю жить. Какое надо иметь счастье попасть в партизанское село. Наутро мы пошли в следующее село. Вася знал, куда вести бедную Раю.

Жизнь моя изменилась. Если вам когда-нибудь приходилось выскочить из горячей бани, так вот и я выскочила из опасности. Здесь, в маленьком совхозе Балка, в котором я остановилась с Васей, жили партизанские семьи, пленные, а остальные были исключительно евреи. Как вам нравится такое общество?!

Вася познакомил меня со своим знакомым Семеновым. Тот провел по мне глазами, и видно было, что он все понял: «Здесь у нас все в порядке. В нашем маленьком совхозе можно отлично жить». «Да, – говорит Вася, – но мне надо бы твою рекомендацию насчет устройства».

– Да. Как раз и нам надо кузнеца. Где наши остальные ребята? – спросил Вася. – А там, в лесу. Крепко работают ребята. Почти что ежедневно приезжают к нам. И сегодня должны быть. – Вася посмотрел на меня. Я сидела вся покрасневшая. – Да. Надо будет ехать к вашему директору. – Вася и Семенов ушли, я почувствовала себя дома. Здесь я смогу отдохнуть.

Вася взял нас всех на учет. Я как жена кузнеца Кравцова стала помощником магазинера. Ребенок ходил в ясли. Вечером молодежь, приходя с работы, собиралась на улице гулять. Наша дочь тоже пела и плясала. Я и Вася с большим удовольствием смотрели на нашу дочь. «Ох, какая красивая девочка. Она совсем не похожа на вас: папка черный и мамка». «Потому что сосед был рыжий». Все смеялись и были довольны моим ответом. «Едут, едут…» – крикнул маленький мальчик, и все побежали в общежитие. И правда, был слышен стук колес, звуки гармони, и раздалась песня: «Человек проходит, как хозяин…» Я стояла недвижимо, слушала слова этой песни, которая приближалась все ближе и ближе. Подвода остановилась. Я продолжала стоять. Мимо меня прошел маленький, черненький, в длинной кожанке, вооруженный партизан. Он ничего не сказал. Когда он вышел обратно из общежития, я тихо проговорила: «Ох, соколы родимы». Он остановился: «Почему вы не заходите в квартиру? И почему вы плачете, разве я вас обидел?» Я, опершись на забор, горько рыдала: «Позовите сюда Волкова, ребята», – крикнул маленький. Ох, и Волков здесь. Я еще сильнее заплакала. «Что с ней? Берите ее в квартиру. Здесь ничего не видать». И когда Волков повел меня в квартиру, он долго держал меня в объятиях и крепко целовал. – Рая. Неужели это ты. Неужели ты жива. – Да, Петя, друзья встречаются вновь. – Волков познакомил меня со своими ребятами, которых я еще не знала. Его товарищ Федя подарил мне черную рубаху.

Я поблагодарила, немножко повеселились. «Здесь, Рая, уже не пропадешь. Мы будем приезжать очень часто. Материально будем тебя обеспечивать. Связь будем иметь». Гармонь заиграла. Хлопцы удалились от совхоза по заданиям. Поработавши в кузне три дня, Вася мне заявляет: «Ну, Рая, мне пора идти на свою работу. Тебя я спас. Ребята будут наезжать, и ты будешь с ребенком обеспечена. На фронтах все благополучно. Наши перешли уже Днепр, и дела улучшаются». Вася взял справку, что отправляется за вещами, и ушел. Жалко было мне расстаться с таким другом, как Вася. Так началась у меня новая жизнь. Директор совхоза товарищ Гурский относился к рабочим неплохо. Товарищ Гурский скрывал от немецко-фашистских разбойников только евреев 44 души, много пленных и партизанских семей. И когда нам грозила опасность, он нам всегда наперед заявлял. А когда настал тяжелый час для врага, Гурский нам сказал: «Дорогие мои, если нам с вами удалось спасти свою жизнь от немецко-фашистской руки, это не значит, что мы не можем пострадать в последние минуты отступления немцев. Нам надо разойтись по селам». Гурский всем оказал помощь. Особое внимание уделил пострадавшим, обеспечил продуктами, топливом, в том числе и обеспечил меня. Я выехала в Хмелевку, где обычно делали дневки партизаны. 25 ноября партизан Данько Дудник пригласил меня на похороны одного партизана в Белобонивку. Дочку я оставила у хозяйки. Сама уехала с ним. И до прихода наших войск была в отряде. В Хме-

левке я имела счастье увидеть первую красную разведку, которая остановилась около церкви. «Здравствуйте! – проговорила я дрожащим голосом и подала всем руку. – Скажите, правда ли это, что в Ценгофовке красные? Неужели мой район освобожден?».

«Хочешь удостовериться, – сказал мне киргиз, начальник красной разведки, – поезжай с нами». Я хоть не видела долго свою дочку, решила поехать с ними. Грудь моя наполнилась счастьем, когда я увидела, что реет красный флаг на сахарном заводе. Привезли меня в штаб армии, там я рассказала все свои переживания и попросилась добровольно в армию. Начальник штаба пожал мне руку и сказал: «Тебе надо вернуться к своей дочке и дать ей воспитание, как требует от нас Родина. Ты должна работать и жить вместе со своей дочерью». И я возвратилась с разведкой в Хмелевку. В связи со скверной погодой я прожила в Хмелевке до 9 февраля. 9 февраля я сталинским трактором выехала домой.

В городе Шпола и его окрестностях
Рассказы местных жителей

[…] 3 и 9 сентября [1941 года] гестапо отобрало в Шполе[61] 160 человек по списку и расстреляло их. Это были врачи, адвокаты, лучшие мастера…[62] Затем евреев загнали в гетто, а эти кварталы огородили проволокой[63]. Гетто немцы назвали издевательски «Палестина». Евреям надели повязки. Их не выпускали на базар. Хлеб им не выдавали, а население вне гетто получало по двести грамм ежедневно. Люди платили по двести рублей за двести грамм хлеба. В гетто начался голод, и ежедневно умирали десять-двенадцать человек. Им не давали электричества. Так мучили людей в гетто до 15 апреля 1942 года. После этой даты в Шполе остались тринадцать евреев-специалистов (бондарь, несколько портных и несколько кузнецов), которые были оставлены в силу необходимости, по просьбе населения. Но в 1943 году и их расстреляли. Остальных разместили в концлагерях.

В четырех километрах от Шполы в Дарьевской чаще был концлагерь, где людей продержали месяц. 15 мая 1942 года в одной яме здесь расстреляли 760 детей, женщин и стариков. До расстрела над ними всячески издевались. Расстрел производили украинские полицейские, руководимые немцами.

Перед расстрелом дочь доктора Гольдберга подняла на руки своих двух детей и сказала, что кровь невинных детей немцам не простят.

Группу трудоспособных евреев погнали на строительство шоссейной дороги Кировоград – Одесса. В Звенигородском районе было несколько лагерей по строительству дороги (дорожных лагерей).

В Брадецкий концлагерь пригнали 255 трудоспособных евреев, которые работали несколько месяцев, а 15 декабря 1942 года их расстреляли. 15 декабря 1942 года расстреляли 105 человек, работавших в Шостаковском концлагере. После 15 декабря 1942 года сюда привели 250 румынских евреев и расстреляли их.

К тридцатипятилетней женщине Мане Глейзер пришел немец и велел приготовить себе поесть. Ночью он пришел с приятелем. Они хотели изнасиловать ее. Женщина сопротивлялась. За это ее закололи, закололи старушку-мать, отрубили голову четырнадцатилетнему

---

[61] Киевская (ныне Черкасская) область. В 1939 г. в Шполе жило 2397 евреев (16,24 % населения). Город был оккупирован с 31 июля 1941 г. по 27 января 1944 г. – *И. А.*

[62] 21 августа 1941 г. в Шполе была арестована и 22 августа расстреляна первая группа евреев-мужчин. 3 и 9 сентября 1941 г. схвачены и расстреляны 160 евреев-интеллигентов (адвокаты, врачи, учителя). В октябре 1941 г. погибло еще семеро евреев. См.: *Энциклопедия*… С. 1096. – *И. А.*

[63] В начале мая 1942 г. трудоспособных евреев угнали в рабочий лагерь. Остальных (около 800 человек) украинские полицейские из 117-го шутцманшафт-батальона 13 мая 1942 г. согнали в гетто. Оккупанты называли этот квартал «Палестиной». См.: *Энциклопедия*… С. 1096. – *И. А.*

братишке. (Это рассказала шестнадцатилетняя племянница Мани Глейзер, девушка пряталась с украинским паспортом. Муж Мани на фронте.)

Если температура у человека повышалась до тридцати восьми градусов, его расстреливали. За это расстреляли четырех девушек и одного двадцатилетнего паренька. Температуру проверяли украинский доктор и немецкий комендант. Больные девушки и юноши сказали, что здоровы и пойдут работать.

– Молчать, тебя не спрашивают, – сказал им врач. Больным сказали, что их ведут в Звенигородскую больницу, но привезли к приготовленной яме. Пока комендант закуривал папиросу, полицейский расстрелял трех девушек.

Когда увозили больных, восемнадцатилетний Кучер (сын слесаря, закончил восьмой класс школы) заметил, что кто-то взял его котелок, а если нет котелка, не получишь пищи… Он бросился вдогонку. За это «преступление» комендант заставил отца Кучера выкопать яму для сына. Отец плакал, просил, чтобы его убили вместо сына, но ничего не помогло. Отца заставили засыпать сына живьем. Через несколько дней отец умер от разрыва сердца.

В лагере находились доктор Кофман и ее четырнадцатилетний сын. У сына повысилась температура до тридцати восьми градусов. Мать поняла, что сына хотят расстрелять, и сказала врачу, что сын завтра выйдет на работу. Но забрали и мать и сына. Перед смертью доктор сказала, подняв сына: «За невинно пролитую кровь расплатится Гитлер и тысячи гитлеровцев».

[1944]
Записал учитель КРУГЛЯК[64]

В Умани
Воспоминания Мани Файнгольд

[65]

Первого августа 1941 года Умань была занята немцами. В городе после мобилизации и эвакуации было больше пятнадцати тысяч евреев[66]. Над жителями повисла черная хмара. Больше всего тревожило евреев, что везде и повсюду были надписи: «Вход жидам запрещен!» Еврейские дети, не понимая этого, неоднократно спрашивали: «Что это за жиды, как можно видеть их?» Но родители им на это должны были признаться и сказать, что мы жиды и нас подразумевают. В это время было приказано немедленно выбрать общину из еврейской интеллигенции и явиться в горуправу для выяснений некоторых вопросов. 13 августа 1941 года община в составе восемьдесят человек мужчин явилась в горуправу. Фашистские варвары жестоко расправились с ними, причем заставляли их физкультуру делать и при каждом движении рубили то руки, то ноги, пока насмерть не замучили. Единичных случаев убийств было очень много, и систематически нападали на еврейские квартиры, где грабили, издевались, убивали. Тут объявляют перерегистрацию всего еврейского населения. «Регистрировали» каждого еврея большой палкой, прикладом и плеткой, проходящие «регистрацию» все были избиты, окровавлены. Для отличия евреев от других народов все, независимо от возраста, должны были носить на правой руке белые повязки с шестиконечными звездами, в отсутствие этих знаков избивали и налагали штраф в неограниченном количестве денег. В убийстве и издевательствах над евреями принимают участие не только полицаи немецкие,

---

[64] Д. 965, лл. 51–52. Машинопись с правкой.

[65] Д. 965, лл. 135–147. Автограф.

[66] В 1939 г. в Умани (Киевская, ныне Черкасская обл.) проживало 13233 еврея (29,8 % населения). Город был оккупирован 1 августа 1941 г. В городе осталось около 15 тысяч евреев, включая беженцев. См.: *Энциклопедия*… С. 1004. – *И. А.*

но с большим удовольствием помогает им украинская полиция с целью ограбить людей и заслужить авторитет у немцев.

Утром 21 сентября 1941 года всех евреев собирают на работу, в процессе работы они узнают, что часть этих людей погнали яму копать. Больше тысячи людей бросают в погреба, и до утра все были задушены. Другие евреи, попавшиеся в тюрьму, посидели до вечера, вечером пришли зрители смотреть на этих жалких людей, которых заставляли танцевать и петь. Конечно, не по собственному желанию танцевали евреи: их заставляли и при этом же били, избивали до смерти. Когда люди просили пулю, им такого удовольствия предоставить не хотели, самое лучшее для развлечения было убивать прикладом. К утру был приказ женщин с детьми выпустить, а мужчин убивать. Несколько дней подряд продолжался погром, где большей частью убивали мужчин[67]. До первого октября все евреи должны были переселиться на старый базар, то есть жить все на одной улице для того, чтобы легче было собирать их и уничтожать. Несмотря на то что был установлен срок для переселения, украинская полиция нападала и не давала переносить свое имущество, требуя немедленного ухода с квартиры. В этом погроме с целью грабежа активное участие брали больше пятидесяти процентов украинцев города Умань. Меня встретила обыкновенная женщина, которая раздевала, забирала одежду и вместе с тем заявила: «Вот еще одна жидовка, забирайте ее, а то из-за них жить невозможно». Сижу в одном украинском доме, где я пряталась, приходит соседский мальчик, сыночек полицая, и рассказывает об успехах своей матери, сколько вещей она набрала, и при выходе он говорит: «Мама достала себе только зимнее пальто, но она говорит, что как только будут еще раз бить жидов, она себе достанет и летнее пальто». Еврейскому народу деваться некуда было и бежать нельзя было, кругом нас были германские фашисты, а также украинская полиция. Многие представители Умани помогали немцам разыскивать и уничтожать евреев. Украинцы, которые старались скрывать еврея, были уничтожены. Кончилось переселение. Гоняют евреев на работу. Прежде всего их сгоняют в полицию, где полицаи бьют и избивают беспощадно и мужчин, и женщин, и детей. Тут они показывают и проявляют свою храбрость бить, издеваться над беспомощными, жалкими людьми. Эти изверги получают от этого море удовольствия, ведь они уже отправляют на работу побитых людей. После этого «концерта» евреев табунами отправляли на самую тяжелую работу. Не раз собирали молодых девушек и заставляли чистить уборные руками, были и другие работы наподобие этой.

Недолго пришлось работать. 8 октября 1941 года с четырех часов утра начинается второй погром. Жандармерия для того, чтобы не рвать свою глотку, решила взять с собою украинскую полицию, а также желающих участвовать в погроме. Еще темно было на дворе, как в наш дом с выстрелами, стуком и визгом ворвались трое. Мы решили, что идут грабить. Не успели еще засветить лампу и встать с постели, как в дом зашли трое. Двое из них были как бешеные тигры со страшными глазами, которые наводили страх с первого же взгляда на них. Это обыкновенные немецкие варвары-эсэсовцы, третий гражданский, с палкой в руках бил окна и двери, только кричал: «Давай, давай». По-видимому, это был украинец и даже не полицай, что давать ему, мы не знали, и расспрашивать его было невозможно. Нас было в доме тридцать четыре человека взято вместе с детьми. Дети начали плакать и перепугались, а мы все растерялись, не зная, что происходит. Наконец гражданский, который шел с палкой, крикнул: «Всем выходить!» Не понимая, что происходит, все стали выходить на улицу. За нами вышли два бандита с ружьями в руках и указали дорогу, по какой нам идти. Мы поняли, в чем дело, обороняться нечем было. Через десять минут эту маленькую группку людей пригнали на базарную площадь, где со всех сторон была усиленная охрана, и с каждой минутой людей становилось больше. В семь часов утра на базарной площади

[67] 22–23 сентября 1941 г. погибло 1412 евреев. См.: *Энциклопедия*… С. 1004–1005. – *И. А.*

насчитывали больше десяти тысяч евреев, тут же стояли пять грузовых машин, на которые бросали маленьких детей и старых, всех остальных гнали пешком. Старый еврей взял под руку свою жену, с которой прожил пятьдесят лет, и со слезами на глазах он прощается с ней, зная, что через полчаса их убьют и больше не увидят друг друга. Последнее их слово было обращено к своим сыновьям, которые дерутся с проклятыми немцами, защищая свою Родину: «Дети мои родные, прощайте! Никогда не увидите больше своих родителей, мы жалкие жертвы, расправляйтесь за нас». Маленькая Саррочка обнимала свою мать и крепко целовала, шестилетняя девочка поняла все, что тут происходит. Она еще попросила пить у мамы, но мама ей сказала, что сейчас напьешься навсегда. Саррочка в прошлом году болела и не умерла, ей суждено, как и тысячам других, погибать от подлой руки фашистских бандитов. Заплаканные голубые глазки Саррочки жалостно смотрели, но у бандитов жалости нет, они били, стреляли в толпу для того, чтобы навести на людей больше страха. Отправляя женщин, вырывали детей из рук родителей, а стариков били палками, прикладами. Бандиты заставляли остальных евреев идти в направлении к тюрьме. В тюрьме этих людей недолго держали, их раздевали, забирали деньги и всякие ценности, а потом гнали всех за город. Людей, потерявших сознание и силы идти дальше, убивали на месте, все остальные шли к яме. Инвалидов бросали со второго этажа на машины, так же были вывезены все детские дома и больные из больниц. Пока этих людей пригнали к яме, весь город был завален трупами людей, убитых палками, и тех, которые пытались уйти. Евреи увидели тут три глубокие ямы и лишь теперь поверили, что их привели на расстрел. Испуганная Саррочка смотрела в лицо матери, будто просила помощи. Мама обнимала ее, поцеловала в последний раз, она не плакала и ничего больше говорить не могла, она была беспомощна и ничем не могла помочь своей маленькой дочке. Она пошла с ребенком первая, стояла над ямой и просила немедленной расправы, ее желание удовлетворили. Страшный бандит штыком проколол и бросил Саррочку в яму, через пару минут грянул выстрел, и бедная мать свалилась в яму, где уже лежала ее Саррочка. Они уже успокоились навеки, им уже легче, чем тем людям, которые стоят в пятидесяти метрах от ямы. Они подходят по пять человек, становятся над ямой и получают свою пулю. На дне ямы лежали живые евреи – старики, калеки, для них жалели пуль, на них падали убитые и раненые евреи, и благодаря этому старики и калеки задохнулись. Евреев становилось все меньше, они по пять подходили, и их стреляли, но каждый из этой толпы старался стать задним, чтобы прожить еще несколько минут, другие не могли переживать это все и бежали прежде, чем подходила их очередь. Тут же стояли немцы, смеясь, фотографировали эту картину.

Таких Саррочек было немало. Десятилетняя Маечка даже успокаивала свою мать, она старалась объяснить ей, что нас не убьют, мы будем жить. Конечно, маме было жалко свою дочь и также своей жизни, она даже просила свою дочь, чтобы она попробовала удрать, девочка отказалась. Маечка сказала: «Не хочу уйти, если бы даже меня и пустили, мамочка, я буду с тобою, где ты будешь, там и я. Никогда я тебя не оставлю, если тебя убьют, пусть меня убивают вместе с тобою, но не плачь, мамочка, нас не убьют!» Такими словами Маечка успокаивала свою мать, но сама она прекрасно понимала, что успокаиваться нечего и беспокоиться тоже, ничего не поможет, песенка была спета. Маю убили вместе со своей мамой, последнее ее слово было: «Мамочка! Я счастлива, что буду лежать вместе с тобою, папочка рассчитается за нашу кровь. Папочка! В последний раз вспоминаю твое имя, не забывай нас и бей подлых фашистов!».

Сначала дети обращались к варварам, спрашивали: «Дядя, где ваше сердце, как можете нас, маленьких детей, бить?» В ответ им бандиты показали, что у них сердца нет, показывая на винтовку. Подрастающее поколение было очень умное, они поняли, что просить не надо и ничего не поможет. Некоторые плакали, прощались с родными и знакомыми, другие шли смело, в последний раз пели «Интернационал». Мальчики двенадцати лет смело смотрели

смерти в лицо и кричали: «Расплата будет! Прольется кровь за кровь!» Последняя женщина, которую убили, сошла с ума, и со смехом она подошла к яме, и, не успев произнести последние слова, она пошатнулась и упала на десять тысяч трупов только что убитых людей[68].

Кровь их еще не застыла, некоторые еще подымали то руки, то ноги, многие, по-видимому, были тяжело ранены, их быстро засыпали землей, но три дня после этого земля еще подымалась. Этим людям помочь никто не мог, они быстро кончались.

Как ни обидно, но среди них попала одна украинка. Она обращалась к немецкому офицеру, показывала документы, что она украинка. Офицер ей ответил только два слова: «Вшистко едно»[69]. И вместе с тем выстрелил, и она упала, как падали все евреи. Немецкий офицер со смехом обратился к своему другу: «Пусть украинцы не думают, что мы их любим, им также капут, неужели этой украинке не все равно, убью ли я ее теперь или позже? Вшистко едно». Только маленькому Володе удалось на этот раз вырваться из рук фашистов и скрыться, благодаря тому, что он был похож на украинца, хорошо владел украинским языком, и никто его не мог узнать – ни немецкая жандармерия, ни украинская полиция, которая старалась разыскивать всех евреев. Полиция два дня подряд искала, рылась, где возможно и невозможно было. Полицай Поламарчук вывел с погреба одного старика еврея, который лежал целый день, старик испуганно и жалостно просился у Поламарчука отпустить его, полицай требовал у старика тысячу рублей, старик дал ему, он оставил его и сейчас же нашел своего товарища, полицая, указал ему, где находится старик, чтобы забрать его. Товарищ Поламарчука решил, что возиться нечего со стариком, но просил еще денег. У старика больше денег не было. Полицай убил его тут же и ушел к соседям искать добычи.

Двенадцатилетний Володька ухитрился, стоя над ямой со своей пятеркой, по которой начали стрелять, броситься в яму живым. Через полчаса окончен был «сеанс». Подлые бандиты кончили свою работу и ушли. В это время Володя помалу вылез из ямы, посмотрел кругом и быстро скрылся. Своих родителей он не шел разыскивать, он их больше не найдет, они были убиты тут же при нем. Он хорошо видел, как убили его мать, старшую сестру и двух маленьких братиков. Володька распрощался с ними, он не ожидал, что еще будет жить после такого погрома, но суждено было ему еще немного прожить. Трудно представить и описать такую картину, трудно передать мысли Володьки, когда он ушел сам, один, без рода, и нигде больше не найдет он своих родных и даже близких знакомых. Бедный мальчик не плакал, он старался найти причину всему тому, что происходит, и так задумчиво шел он по городу, видел, что полиция бегает, как бешеные собаки, ведут еще поодиночке евреев, которых только что нашли. Полиция торжествует! Володька прошел мимо них, ушел дальше, ближе к своей улице, где украинские мальчишки, девчонки и взрослые таскали мешками всевозможные вещи с квартир евреев. Во всех домах окна и двери были выбиты, квартиры пустые. Люди выносили кастрюли, всякую посуду и прочее. Володька тоже поднял торбу, собрал ненужное тряпье и постарался подойти поближе к своей квартире. Мешок с тряпками весом в два килограмма для него весил три пуда, он от ужаса сам не мог держаться на ногах, но носил он для того, чтобы его не узнали. Володька вошел в свою квартиру, жуткую картину он увидел – бабушка лежала убитая на полу. Она была сильно побита, наверное, побили ее, потому что не могла идти со всеми, она была старая и слепая. Володька быстро повернулся и вышел, он всеми силами сдерживался, чтобы не заплакать, ибо тут же его могли узнать и уничтожить. Он взял свой мешочек с тряпками и быстрыми шагами отходил от родного дома. Навстречу ему шла молодая женщина-украинка, она спросила его, где он брал вещи, просила показать ту квартиру, где он брал: «Может быть, еще есть. Я тоже возьму». Володька

---

[68] 8 октября 1941 г. были схвачены и расстреляны 5,4 тысячи уманских евреев и 600 евреев-военнопленных. См.: *Энциклопедия*… С. 1005. – *И. А.*

[69] Все равно (*польск.*).

говорить не мог, он только рукой показал, сам не зная куда. Пришел он к своему товарищу, с которым учился пять лет. Товарищ, украинец, мальчик Сенька, пионер, ласкаво[70] принял его и предложил ему спрятаться у себя до завтра. «А завтра увидим», – сказал он. Володька плакал. Сенька успокаивал его. Вечером друзья легли вместе спать и почти до утра не заснули. Все говорили, советовались. Сенька всеми силами старался помочь своему другу.

Утром 9 октября еще ходят полицаи, ищут евреев, но никто не предполагал, что евреев, которых найдут девятого, не убьют. И действительно, всех найденных на второй день погрома не убивали (их насчиталось восемьсот человек). И перед вечером 9 октября их отпускают, приказывают занять дома по указанию полиции, всем объявляют прийти десятого на работу и обещают, что больше убивать не будут. Люди измученные, голодные, холодные, после двухдневного гонения над ними, приходят в квартиры, где только следы есть, что тут были люди, но их уже нет. Они спят вечным сном, им уже лучше живых, которые остались, чтобы дальше издеваться над ними. Не было ни одной целой семьи. Остались дети без родных или родные без детей. Каждый человек был разбит, расстроен и завидовал мертвым.

Люди как-нибудь пересидели эту ночь, они ждали, что завтра их убьют, нет, завтра их еще не убивали, они еще прожили до 22 апреля 1942 года. Но как они жили! Конечно, они были правы, завидуя мертвым. Как издевались и мучили их, пером не написать, в сказках не рассказать. Нет таких слов, которые описали бы их жизнь. Людей стало еще больше после того, как пронесся слух, что не будут убивать: многие вылезли из подвалов, чердаков, с сел многие поприходили. Через две недели после погрома уже в гетто (улица, на которой жили евреи) находилось полторы тысячи человек вместе с детьми. При втором погроме убили больше десяти тысяч евреев. Долго их оплакивали их родственники, знакомые, которые остались жить, но вместе с тем завидовали тому, что больше их мучить не будут, а живых еще мучили, и каждый день они ждали третьего погрома.

Жизнь протекает по-прежнему. Опять единичные случаи ареста и расстрела, опять нападение со стороны немцев и полиции на еврейские квартиры, опять грабеж и издевательство. 1 января 1942 года арестовали троих, среди них была одна довольно привлекательная женщина-еврейка Яцус. Следователь полиции хотел быть в близких отношениях с ней, она отказалась, поэтому решили повесить всех троих. 5 января 1942 года их прилюдно повесили. Яцус подошла к виселице, сбросила платок и сама накинула петлю. Палач Воропаев потянул ее за ноги, и секретарь полиции Тонкошкур произнес речь, где он отметил, что двадцать три года советская власть издевалась и мучила украинцев и тут виноваты евреи. 8 января объявили, что все евреи должны носить желтые нашивки на груди спереди и сзади, нашивки круглые диаметром семь сантиметров. Тут уж было за что издеваться! Одного били за то, что нашивка больше, чем указано, других били за то, что нашивки меньше или темно-желтые, у третьих нашивки были светло-желтые. Нельзя было город пройти, кругом полицаи, как бешеные собаки, гоняются с палками и бьют безжалостно кого попало. Вместе с тем было приказано, что каждый еврей должен шапку снять перед немцами и полицаями, за это тоже не одному попало. Снимая шапку, еврей должен иметь большое счастье благополучно пройти. Обыкновенно город был полон всякими чертями, перед каждым снимать невозможно было. В случае, как не снимешь быстро, получишь палкой по голове так, что голова слетит вместе с шапкой. Пятилетний Мишка сказал своему деду: «Дедушка, ну и что, что холодно, идите лучше совсем без шапки, а то рука заболит перед каждым шапку снимать». Не раз колотили дедушку, немало палок он схватил от полиции, но никогда он дома ничего не рассказывал. Очень спокойно он перенес все это, зная, что никто ему ничем не поможет.

[70] Приветливо (*укр.*).

В гетто насчитывали тысячу восемьсот евреев после второго погрома. Всех гоняли на работу. Причем каждый день всех людей пригоняли в полицию, тут полицаи стояли с палками в руках и встречали евреев, собирающихся на работу. Каждого еврея хорошо избивали палками, а потом отправляли на работу чистить снег или переносить камни и прочее. Табунами гнали евреев на работу, и каждую колонну сопровождали полицаи. Однажды, когда гнали на работу, мы встретили одну уманскую учительницу. Она улыбнулась полицаям: «[*нрзб*.] ведете, ха-ха-ха!» Поработав целый день, люди возвращались домой вечером голодные, холодные, и за работу им ничего не платили. Никому даже кушать не хотелось, только отдохнуть до утра, ибо завтра опять в полицию, опять палки хватать, опять то же самое. Вечером все думают отдыхать. Но тут уж сам Бог вмешивается и думает: «Зачем евреям отдыхать, ведь я и ночью найду работу для них?» И только с десяти или девяти часов вечером начинается другая комедия. Пожар. Горит какой-то дом от сильного отопления. Вся полиция уже на ногах, выгоняют всех евреев, и мужчин, и женщин, и детей тушить пожар. Все взволнованы, бегут с ведрами в руках к речке. Ночью. Темно [*нрзб*.].

Подойдя к речке, полицаи бросают этих людей в воду и одновременно заставляют их вылезать, набирать воды и идти тушить пожар. Люди, которые вылезают с речки, получают по несколько раз прикладом, бегом с ведрами идут к пожару, всех заставляют забраться на крышу и одновременно стреляют. Тут же люди падают на землю. Стоит полиция и хохочет. Так проходит ночь. Утром можно увидеть десять-пятнадцать человек, повешенных за то, что плохо тушили, кроме того, все возвращаются домой окровавленные, избитые, измученные, обиженные и людьми и Богом. Тут наступает утро, и опять вчерашний день и то же самое. Кроме того, после каждого пожара накладываются налоги на евреев. После первого пожара наложили 80 тысяч рублей, во второй раз 170 тысяч, третий раз 360 тысяч. За неуплату этих налогов угрожают расстрелом всех евреев. Но когда уже нечего было платить, позабирали имущество, мебель и разобрали дома. Это еще не все. Люди могут, как видно, больше перенести. Однажды вечером старик Фридман, оборванный и разбитый, возвращается домой с работы. Он идет и думает, что день уже прошел, наступает страшная ночь, как пережить эту ночь. Но тут навстречу идет полицай, известный палач Воропаев. Фридман снял шапку и прошел, но Воропаев не так пропускает еврея, он его позвал обратно и спрашивает: «Ты мне чего дулю дал?» Не успел Фридман ответить на вопрос, как Воропаев начал его бить прикладом. Всего побитого он отправил Фридмана в полицию, где бросили его в камеру. Через полчаса секретарь полиции Тонкошкур вызывает Фридмана на допрос. Ничего не спрашивали его, но обступила его «веселая компания полицаев». Все начали бить его палками, прикладами, заставляли танцевать и петь. При этом Фридман весь истекает кровью, уже на ногах не держится. Тонкошкур кричит, чтобы он не испачкал пол кровью, и заставляет подставить шапку. Почти мертвого Фридмана бросили в камеру, тут какой-то человек привел его в чувство. Открывая глаза, он обиделся на человека и сказал: «Лучше мне умереть, зачем вы это делаете? Разве возможно так жить? Не хочу больше этой проклятой жизни!» Человек его успокаивал и объяснял, что его положение не лучше. Его [*текст обрывается*].

1944

Что я пережил в фашистском плену Письмо девятилетнего Бори Гершензона из Умани в Еврейский антифашистский комитет

71

[71] Д. 966, лл. 27–28. Машинопись.

Дорогие дяди, я сейчас опишу вам, как я мучился у фашистских извергов. Как только прибыли немцы к нам в город Умань, нас всех загнали в гетто. Среди нас были старики, женщины и дети, а также больные. Всех сразу повели в лес на расстрел. Там же расстреляли мою бабушку и тетю Зину с детьми, а мне удалось удрать. Долго я прятался в лесу Софиевка, пока меня снова поймали и загнали в здание Дворца пионеров. Там нас было очень много. Нас там били, душили, раздели наголо и бросили в погреб. Многие из нас не могли выдержать пыток и здесь погибли. Потом оставшихся в живых отправили в лагерь. Несмотря на то что я здесь был самый маленький, меня заставили делать очень тяжелую работу. Кроме того, нас раздели и начали избивать до потери сознания. Морили нас голодом. Верхнюю одежду с нас сняли. Кушать давали шелуху из проса и макухи и пятьдесят граммов хлеба. Спали мы в разломанных конюшнях. Снег падал прямо на нас, а для того, чтобы нам было теплее, мы ложились один мальчик на другого. В этом лагере я пробыл около восьми месяцев, а потом убежал к папе в лес, в партизанский отряд. Будучи вместе с папой, я помогал разносить листовки по селам. Но через некоторое время меня опять поймали и отправили в г. Бершадь, в румынский лагерь. Румыны нас мучили так же, как и немцы. Каждое воскресенье из лагеря брали сотни советских людей, одних вешали, других расстреливали. Папу тоже поймали. Его вместе с группой партизан расстреляли незадолго до прихода Красной Армии.

Как только освободили Умань, я сразу уехал туда. Но там я прожил недолго. Тетя Рива, которая находится в Красной Армии и работает врачом в госпитале, узнала про меня и забрала меня к себе. Я живу теперь в госпитале с тетей Ривой. Здесь я учусь на киномеханика. Мне девять лет. Думаю поступить в Суворовскую школу. Когда вырасту, стану офицером Красной Армии.

Если захотите мне написать, пишите по адресу:

Полевая почта, № 23336-А, Боре Гершензону.

[1944]

Рассказ партизанки Раисы Дудник, спасшейся из Умани

На днях в Еврейский антифашистский комитет пришла молодая партизанка Раиса Дудник, бежавшая в свое время из Умани. Вот что она нам рассказала.

Когда немцы вступили в Умань – это было 1 августа 1941 года, – мой отец Лейб Дудник предложил мне и моей сестренке Хае бежать из города. Но мы отказались оставить родителей одних.

Первый погром немцы устроили в Умани 23 сентября. В этот день я на рассвете ушла в соседнюю деревню. Возвратившись, я никого дома не нашла. Квартира была разгромлена. Я бросилась к городской тюрьме. Из-за ограды доносились крики «Шма Исроэль», рыдания женщин, плач детей…

Вдруг ворота тюрьмы распахнулись. Немцы вывели на улицу мужчин-евреев.

В руках у каждого была лопата. Я увидела отца и бросилась к нему…

– Прощай, Рая! – сказал отец. – Мать и Хая в тюрьме. Нас ведут на расстрел.

Немцы отшвырнули меня, а всех мужчин погнали к кладбищу…

Женщин и детей – до трех тысяч человек – загнали в жарко натопленный подвал тюрьмы, наглухо закупорив двери и все отверстия. Многие задохлись.

Трупы издавали ужасное зловоние. И лишь когда вонь стала разноситься по всей тюрьме, немцы открыли дверь. Все эти дни я не отходила от ограды. Я видела, как из тюрьмы выезжали подводы, груженные голыми телами. Это были задохнувшиеся женщины и дети. Немцы без стеснения, среди белого дня возили эти сваленные в беспорядке трупы. Я увидела среди них курчавые головки трех моих двоюродных сестренок…

Когда в тюремных подвалах осталось человек триста, немцы совершенно голыми выгнали их на улицу.

Среди этих обезумевших людей, которые никого не видели, ничего не понимали, я нашла мать, сестру, тетю Соню и ее уцелевшего сына.

Через два дня на Раковке было создано гетто[72]. Каждую ночь пьяные бандиты врывались в наши домишки. Насиловали девушек. Избивали старух, забирали последнее. 7 октября по гетто разнеслись зловещие слухи. Говорили, что в Умань приехал новый карательный отряд. Для того чтобы проверить это, я с сестренкой отправилась на Софиевку к нашим русским друзьям. Бухгалтер Ларжевский тепло принял нас и предложил переночевать.

Я проснулась утром с тяжелым чувством страха за мать. Вышла на улицу – вижу, соседка рыдает:

– Ох, доченька, ховайся! Евреев из гетто повели убивать!

Я решила оставить сестренку у Ларжевских, которые обещали ее спасти, а сама направилась искать мать[73].

По дороге в гетто меня задержал полицейский, который заявил мне:

– Иди перед смертью полы в полиции мыть.

Там я увидела еще двух евреек-девушек. Целый день мы убирали помещение, а вечером нам всем трем удалось незаметно скрыться.

В этот день немцы расстреляли в Умани десять тысяч евреев[74]. В их числе была и моя мать.

Бежав из полиции, я обратилась к Николаю Васильевичу Рудкевичу, который дал мне паспорт на имя украинки Лукии Коротенко. С этим документом я пошла куда глаза глядят.

Я прошла более двух тысяч километров. Была в Кировоградской, Кременчугской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. И нигде не встречала евреев. Я заходила в деревни. Работала на огородах, нянчила детей, стирала. Добрые люди кормили меня. Многие знали, что я еврейка, и, рискуя жизнью, давали кров, делились последним куском хлеба. Я искала партизан, часто видела взорванные ими переправы, искалеченные рельсы, сожженные дома бургомистров. Добралась до Белоруссии, по пути встретила семнадцатилетнюю белорусскую девушку Марию Чик, которая бежала из Донбасса. Она пробиралась к себе на родину в Костюковичский район. Этот район был центром партизанской борьбы. В бессильной ярости немцы сожгли тут девятнадцать деревень, но так и не нашли народных мстителей. Отец Марии, Сильвестр Чик, указал мне путь к партизанам.

Начальник отряда Василий Костюков принял меня как родную. Впервые за два с половиной года я почувствовала себя полноправным человеком.

В этом отряде я нашла старуху-еврейку Фаню Гибхину, которая находилась в нем с первого же дня. Она стала мне второй матерью. Немцы расстреляли ее дочь и мужа. Чудом уцелевшая Фаня вместе со своим шестнадцатилетним сыном Борухом ушла к партизанам. В отряде было еще несколько евреев. Я встретила здесь старика-сапожника Хаима Лезнера, медицинскую сестру Басю Пивченко.

Я рвалась в бой. Командир назначил меня в диверсионный отряд и снабдил трофейным ружьем. В моей боевой жизни всякое бывало. Чаще всего налетали на немцев, переправлявшихся через реку Безеть. Перебьем всех гитлеровцев, увезем их лошадей и, отдохнув

---

[72] Гетто было организовано 1 октября 1941 г. в районе Раковки. См.: *Энциклопедия*… С. 1005. – *И. А.*

[73] Уроженцы Умани Раиса Ларжевская и двое ее братьев, Николай и Леонид, до войны учились вместе с Раисой Дудник в Днепропетровском университете. Приехав на каникулы в родной город, они оказались в оккупации. Вместе со старшим братом Иваном (работал бухгалтером и в 1944 г. погиб в партизанском отряде) они спасли сестер Дудник. Удостоены звания «Праведник народов мира» в 1996 г. – *И. А.*

[74] См. выше.

немного, отправляемся на новые дела. Наш отряд контролировал железную дорогу Унеча – Кричев. Мы налетали на охрану, стоявшую у железнодорожного полотна, уничтожали немцев и затем уже беспрепятственно взрывали железнодорожную линию.

Осенью 1943 года фронт стал приближаться к нам. 22 сентября 1943 года к нам в отряд пришли первые разведчики-красноармейцы. Вечером в деревне был большой праздник.

Большинство партизан влились в регулярные части Красной Армии и шли дальше на Запад. По настоянию командира отряда женщин и детей отправили в тыл на отдых.

Сейчас Раиса Дудник уехала в Умань в надежде найти там свою сестренку Хаю[75].

[1944]
Записала М. ЖЕЛЕЗНОВА[76]

Мама, спасай меня! Письмо Блюмы Исааковны Бронфин из г. Хмельника Винницкой области

[77]

Многоуважаемый товарищ Илья Эренбург!

Ваше письмо, в котором просите меня написать, что я пережила во время немецкой оккупации, я получила. Тов. Эренбург, трудно будет мне все описать пережитое мною, ибо все ужасы, которые я видела своими глазами, не передать. Начну с 9 января 1942 года. 9 января, рано утром, нас, евреев, окружила украинская полиция и отряд СС[78]. Началась паника, никто не мог понять, что нас ожидает. Около восьми утра полицаи и немцы начали громить: били окна, стреляли и наконец начали выгонять из квартир. Собирали партиями и гнали в сосновый лес. Я не знала, что делать, куда деваться с детьми. Старшего сына Мишу я спрятала. Меня с трехлетним сыном Изей избили и выгнали на улицу, где я увидела ужасную картину. Трупы валялись везде, снег был красный от крови, варвары бегали, как дикие звери, и кричали: «Бей жидов, юд капут!» – и стреляли в толпу. Стоило только им заметить маленького ребенка, они сразу набрасывались на него и кинжалом резали на куски. Крики детей: «Мама, боюсь, мама, спрячь меня!» – до сих пор звенят у меня в ушах. Когда собрали человек двести, нас погнали в сосновый лес. Всю дорогу избивали, расстреливали всех, кто только вздумал выйти из толпы. В лесу была вырыта большая яма, в стороне лежала куча одежи; людей по очереди заставляли раздеваться и стать над ямой, их ждала очередь пулемета. Жуткая картина: дикие крики детей, стоны расстрелянных из ямы, заставили меня подумать о побеге, и я схватила моего перепуганного сына на руки и пустилась бежать, думая, что вот-вот меня убьют. Но мне помог сильный снегопад. Я бежала, не зная куда, и чувствовала, что вот-вот меня покинут силы и я упаду с ребенком и замерзну на чистом поле, так как был сильный мороз. Но вдруг недалеко я увидела разбитый, пустой сарай. Я забралась в сарай на чердак, окутала ребенка платком и так просидела там до 11-го числа до вечера. Вечером я решила пойти в город проверить, остался ли мой старший сын в живых. Мне удалось с большими трудностями перейти через речку не замеченной варварами, кото-

---

[75] Хая (Валентина) Дудник уцелела. После войны жила в Новосибирской области. – *И. А.*

[76] Д. 958, лл. 1–3. Машинопись с припиской М. Железновой.

[77] Д. 960, лл. 79–82 об. Автограф.

[78] В Хмельнике, райцентре в Винницкой область, накануне оккупации проживало около 4 тысяч евреев. Осенью 1941 г. в город были вселены евреи из окрестностей, а также депортированные румынами из Бессарабии и Буковины в Винницкую область. На рассвете 9 января 1942 г. эсэсовцы, полицейские (местные и прибывшие из Литина) окружили гетто и стали сгонять евреев к Угриновскому мосту. Здесь оккупанты отделили семьи специалистов, а остальных узников (5,8 тысячи человек) казнили за городом. См.: *Энциклопедия*… С. 1033. – *И. А.*

рые дежурили на мосту. Поздно вечером я очутилась в своей квартире. Окна, как везде, были разбиты, двери открыты, все до мелочи разграблено. Сына я не нашла. Утром 12 января меня в доме заметила женщина Курта, которая ходила грабить, и выдала меня полицаям. Меня с ребенком повели в полицию. По дороге меня встретила знакомая русская женщина Лунина, которая несла на плечах большой мешок с вещами, и спросила меня: «Куда тебя ведут, в женотдел?» И громко рассмеялась, мигнув при этом полицаю Жуку, который сопровождал меня, после чего последовало два сильных удара прикладом по затылку, и кровь полилась у меня носом и ртом. Мой бедный мальчик посмотрел на меня и спросил: «Мамуся, тебе больно?» И заплакал. Между прочим, Лунина сейчас находится в Хмельнике, работает в Райпотребсоюзе в закрытом распределителе (тридцатке). Во время немецкой оккупации Лунина обслуживала жандармерию. Меня, всю залитую кровью, бросили в камеру. Встретилась с такими же несчастными, как я. В полиции я была с 12 по 15 января, что я там видела и пережила, не передается словами, вряд ли кто-либо может это издевательство описать. Сидеть не давали, через каждые десять минут приходили полицаи и немцы, брали людей на работу с криками: «Выходи, жидова!» Водили в камеру, где стоял патефон, ставили пластинку «Еврейский фрейлахс», и под эту музыку надо было бегать вокруг стола, где стояли полицаи с резиновыми плетками и избивали до потери сознания, после чего обливали водой и бросали обратно в камеру. Крики, стоны слышно было кругом. Дети плакали, просили кушать. Немцы приходили с хлебом и спрашивали: «Кто хочет кушать?» Дети, конечно, бросились к ним просить хлеба, но вместо хлеба они получили побои дубинками. Вечером приходили немцы и полицаи, выбирали молодых женщин и уводили их с собою, потом бросали их обратно в камеру, измученных, истерзанных. 15 января мне удалось бежать с ребенком из полиции. 16 января расстреляли всех измученных евреев, которые находились в полиции[79]. С 16 января 1942 года до 12 июня я жила на еврейской улице, отведенной специалистам. Весь этот промежуток времени мы жили в большой панике. 12 июня отряд СС и полиции окружили гетто, в этот день убили 320 человек, по большей части стариков, женщин и детей. Я с ребенком была спрятана в секрете, вырытом под землей. После этого погрома я большей частью ночевала на поле, но когда наступили холода, я вынуждена была вернуться домой, т. е. в гетто, где находилась до марта месяца 1943 года. 8 марта начался погром, который продолжался целый месяц. Варвары этим погромом хотели истребить всех евреев, находившихся в Хмельнике. Я с ребенком ночью бежала через речку, вся мокрая скрылась в скирде соломы на поле, где пролежала без еды три дня. На четвертый день ночью я чувствовала, что силы меня покидают, и ребенок начал просить меня: «Мама, спасай меня, я кушать хочу!» – я решила пойти, куда сама не знала. Я шла без всякой надежды найти где-либо приют. На первом переезде встретил меня человек, посмотрел на меня и говорит: «Я все понял, идемте со мною, но незаметно». Я крепко испугалась, но другого исхода у меня не было, и я пошла за ним.

Он меня привел к маленькому домику, постучался, дверь открыла женщина, которая с удивлением посмотрела на меня, мол, кто ты, мученица? Нас пустили в дом, обогрели, накормили и разрешили переночевать. У этого человека, то есть у Барткевича Ивана Александровича, я жила с ребенком до 20 апреля, а потом я вынуждена была уйти, так как по соседству жил полицай Альвинский, который очень придирался и следил за моими хозяевами. Ушла я на территорию, временно оккупированную румынами, в город Жмеринку. В Жмеринке я жила в еврейском рабочем лагере, работала я в немецкой фирме Вальтер-Шифлер. Кормили один раз на день, терпела голод и холод, но жила надеждой, что придет час расплаты с фаши-

[79] 16 января 1942 г. погибло 1240 евреев. После этого в гетто собрали всех евреев города, в т. ч. скрывшихся либо спрятавшихся в момент казни. Специалистам были выданы «аусвайсы» белого цвета, остальным – синего. См.: *Энциклопедия*… С. 1033. – *И. А.*

стами, и, наконец, настал долгожданный день освобождения. Красная Армия освободила нас, измученных евреев, из-под гнета фашизма. Я вернулась в родной город Хмельник[80].

25 июля 1944 года к моему соседу Войнеру приехал сын-капитан, которого считали давно убитым. Я пошла повидаться с ним. Стоя там, я подумала: «Как хорошо потерять, а потом найти». В это время вбежала девочка моей соседки и говорит мне: «Тетя Блюма, идите домой, ваш мальчик пришел!» Я не поняла, какой мальчик, и побежала домой. И что я увидела? В кухне стоял мальчик, мой сын Миша, которого я потеряла 9 января 1942 года, оборванный, босой пастушок. Когда он меня увидел, он успел только сказать: «Мама, счастье мое!» – и упал без чувств. Вообще, нашу встречу не могу передать на бумаге, и вряд ли найдутся такие краски в мире, чтобы нарисовать такую картину. Через несколько дней, когда он немного успокоился, он мне рассказал следующее. 9 января, после того, как он увидел, что меня с ребенком выгнали на улицу, он вышел вслед за нами на улицу и решил уйти, куда он сам не знал. Так как ему тогда было десять лет, перебрался через речку, где по нему стреляли. Он упал, притворился мертвым. Когда немцы ушли, он поднялся и пошел дальше в неизвестную дорогу. На второй день он очутился в селе Старой Гуте. Оттуда на следующий день пошел в село Рошкивцы, где три месяца бродяжничал, пока староста села не начал преследовать его. Он вынужден был уйти дальше. Пришел он в село Дашковцы, где приютил его тракторист Коваленко, у которого жил целый год. После он перешел на хутор того же села, так как его хозяина Коваленко обвиняли в связи с партизанами, и он боялся, чтобы не узнали, что он еврей. На хуторе мой мальчик нанялся к одному хозяину пастушком и жил там до прихода Красной Армии.

Когда Красная Армия освободила Хмельник, он сразу боялся идти в Хмельник, так как знал, что мамы и братика нет. Ибо он видел, как вывели нас на расстрел. 25 июня он все-таки решил проверить свое счастье и пошел в Хмельник, где нашел меня и братика и письма от папы с фронта. Вот где настоящее еврейское счастье. Товарищ Илья Эренбург, все, что я Вам пишу в этом письме, тысячная доля пережитого мною и моим сыном. Писать обо всем никак невозможно.

Теперь я работаю завпроизводством индпошива, стараюсь работать продуктивно на благо нашей родины. Дети посещают школу, муж на фронте, от которого получаю письма, с надеждой скоро прийти домой с полной победой над злейшим нашим врагом человечества и культуры.

Жду от Вас ответа. В следующем письме[81] постараюсь Вам, дорогой Илья Эренбург, описать поведение и ответ работников по отношению к евреям.

Бронфин Блюма Исааковна
Мой адрес: Хмельник, Республиканская, 74.
8.10.[1944 г.]

Бегство двадцати пяти еврейских девушек из Тульчинского гетто. Воспоминания партизанки Голды Вассерман

[82]

[80] Хмельник был освобожден 9–10 марта 1944 г.

[81] Это письмо в архиве Эренбурга не обнаружено: имеется лишь краткое письмо Б. И. Бронфин ее московской родственнице, переданное в ЕАК. – *И. А.*

[82] Д. 959, лл. 194–196. Машинопись. Пер. с идиша.

Осенью 1942 года в Тульчинском гетто находилось свыше трех тысяч еврейских семей из Украины, Буковины и Бессарабии[83]. Каждое утро на рассвете всех их, стар и млад, всякого, кто стоял на ногах, гоняли на работу. За работу бандиты Антонеску ничего не платили и не выдавали никакой пищи[84]. Добывать пищу приходилось самому. При этом выходить из гетто евреям было строго воспрещено. Когда же румынские жандармы накроют, бывало, в гетто крестьянина, то, жестоко избив, отнимали у него продукты. Лишь по пути на работу и с работы евреям удавалось приобретать что-либо у крестьян или выменивать последнюю одежду на продукты и тайком приносить их в гетто.

Каждый день в гетто доставлялись новые партии евреев. Это были частью люди, долгое время скрывавшиеся в лесах, пробиравшиеся к партизанам и попавшие в лапы фашистских головорезов, частью евреи из разных стран Европы, оккупированных гитлеровцами[85].

Каждый день в гетто умирали пятнадцать-двадцать человек от голода, тифа, тяжелых язв и прочих болезней. Сверх этого разбойники Антонеску изо дня в день расстреливали на работе всякого, кто, вследствие крайнего истощения, еле волочил ноги. Трупы лежали, неубранные, часто в течение целой недели – не успевали просто этого сделать. Что касается издевательств и избиений, даже детей, – то это было в порядке вещей.

Километрах в пятнадцати от гетто находились итальянские и венгерские резервные части. По требованию интендантов этих частей румынский жандармский комендант Тульчина отбирал в гетто здоровых молодых девушек и отправлял их, как гласила официальная версия, на кухни и в пекарни итальянских и венгерских частей. Оттуда девушки возвращались обычно изнасилованными и зараженными разного рода венерическими болезнями. Большинство девушек кончали самоубийством будучи еще в казармах или по возвращении домой, некоторых расстреливали при сопротивлении насильникам или при попытке к бегству.

Каждый раз комендант отбирал новых девушек на «работу». Из гетто их водили к жандармскому коменданту, и там они передавались на руки венгерским и итальянским канальям.

Отбор происходил почти каждые пятнадцать-двадцать дней. Что творилось в гетто – эти отчаянные вопли девушек, родителей – не поддается описанию. С пути девушки, рискуя жизнью, пытались при малейшей возможности спастись бегством. Фашистские подлецы стреляли им вслед, и кого пуля не достигала, та рано или поздно все же попадалась в руки палачей и расстреливалась. Лишь единицам удавалась скрываться в деревнях под видом деревенских девчат или же после долгих блужданий в лесах оказаться спасенной партизанами.

К последней категории принадлежу и я.

Я в числе двадцати пяти еврейских девушек была отобрана для отсылки на «работу» в венгерских и итальянских резервных частях. Нас вели два солдата, венгерец и итальянец. Дорогой пришлось пройти болотом по узеньким мосткам. Скорее взглядом, чем словом Женя Фукс, Соре Витал, Клара Мейдлер и я приняли единогласно решение спихнуть обоих негодяев в болото и бежать. План этот удался, к сожалению, лишь частично. Одного солдата сразу засосало болото, другому же удалось выкарабкаться: он зацепился за гнилой пень и стал стрелять по нам, убегающим. Одна из девушек, Блюме Кригер, была сражена пулей, когда она переходила по мосткам. Она упала в болото, и ее засосало. Солдат выпустил все пули. Когда он принялся снова заряжать ружье, мы забросали его градом камней. Он потерял равновесие, упал, но ухватиться опять за пень на этот раз не смог – слишком далек уж был от него пень, и завяз в болоте.

---

[83] В гетто Тульчина находилось около 3300 евреев. См.: *Энциклопедия*… С. 990. – *И. А.*

[84] Работающим выдавали 180 г. хлеба в день. См.: *Энциклопедия*… С. 990. – *И. А.*

[85] Иностранных евреев, кроме румынских, в гетто не было.

Две недели мы блуждали по лесам Тульчинской округи, питались ягодами и прочими лесными растениями. Вслед за этим мы добрались до какой-то деревушки, но зайти в деревню не решились: там слышен был гул автомобилей и танков. На полях, примыкавших к лесу, мы собирали ползком картофель и кукурузу и тем временем все более углублялись в лес. Нас, еле живых, нашли разведчики партизанского отряда и спасли от верной голодной смерти. Из раненых девушек осталась в живых одна – Берта Кимельман. Соня Фукс и Регина Залкинд погибли от потери крови.

Геройски погибли в рядах сражающихся партизан Сима Хабад из Сикурен, Роза Гринберг из Черновиц и Лея Куперман из Кишинева. Все три были дважды представлены к наградам. Регина Котесман, Хана Бекер, Лили Шехтер, Соня Курц и Голда Вассерман были также представлены к высшей награде и ныне находятся в различных центрах Советского Союза, где продолжают учебу в советских вузах.

[1944]

Восточная Украина

Рассказ спасшегося из Харьковского гетто
Воспоминания инженера С. С. Криворучко

[86]

Я, житель г. Харькова, по национальности еврей, по специальности инженер, по случаю болезни не смог эвакуироваться из города в октябре 1941 года. С первых же часов занятия города немецкими оккупантами евреи почувствовали особое отношение к ним со стороны немцев. Началось с индивидуальных убийств, выселения из квартир и частых посещений еврейских жилищ немцами, бравшими оттуда, что им заблагорассудится. Кроме неорганизованного грабежа, они занялись грабежом, так сказать, в плановом порядке. Для этого ими был назначен так называемый еврейский староста, престарелый доктор Гуревич[87], обязанностью которого являлся сбор контрибуций, налагавшихся на еврейское население. Контрибуции следовали одна за другой, во все возрастающем количестве.

14 декабря с утра по городу были развешаны объявления немецкого коменданта города Харькова с приказом всем «жидам» переселиться в двухдневный срок в бараки на территории тракторного завода; лица, обнаруженные в городе после 16 декабря, будут расстреливаться на месте.

С утра 15 декабря из города потянулись целые вереницы евреев, переселявшихся за город. Многие шли пешком с узелками в руках, другие катили тачки, ручные тележки с незначительным скарбом, который успели захватить с собой. Ехали также на частных подводах. В спешке выселения почти все имущество осталось на месте.

Дорога от города до бараков тракторного завода для многих стариков и инвалидов оказалась последней в их жизни. Не менее тридцати трупов стариков лежали на дороге. Часов с двенадцати дня по дороге начался погром и грабежи переселявшихся евреев. Таким образом, очень многие евреи прибыли в бараки без всяких вещей, а главное, почти без продовольствия, что дало себя почувствовать на второй же день.

Бараки, в которых нам предложили поселиться, были одноэтажные, полуразрушенные, с разбитыми окнами, сорванными полами, пробитыми крышами. Площадь их была в восемьдесять раз меньше того, что требовалось бы по санитарному минимуму. В той комнате, где я поселился, к вечеру набилось свыше семидесяти человек, между тем как нормально в ней проживали не более шести-восьми человек. Люди стояли, приткнувшись один к другому. С трудом на второй день мы установили штук десять железных кроватей, найденных на свалке. На каждой кровати спали три-четыре человека. Несмотря на холодную погоду и разбитые окна, в комнате от духоты было тепло. На третий день бараки были оцеплены немецкими часовыми, не допускавшими никакого общения между нами и внешним миром.

Питания никакого не предоставлялось. Люди ели те запасы, которые успели захватить с собой и привезти из города. Начался голод. На почве голода ежедневно умирали двадцать-тридцать человек. Мы страдали также и от отсутствия воды. С двенадцати до часу дня разрешалось женщинам, и то ограниченному количеству, под охраной идти к вблизи рас-

---

[86] Д. 958, лл. 241–246. Машинопись с авторской правкой. Семен Семенович Криворучко отправил краткую версию воспоминаний в письме И. Г. Эренбургу от 29 марта 1945 г. (д. 960, лл. 62–63). Автор сообщал, что служит в армии рядовым, участвовал в боях за Восточную Пруссию, был ранен, лечился в Москве, откуда и направил письмо. Спасители Криворучко – жена-врач и приемная дочь-медсестра – работали в это время в госпитале в Венгрии. – *И. А.*

[87] Д-ру мед. наук Е. З. Гурвичу шел 71 год. См.: *Энциклопедия*… С. 1028. – *И. А.*

положенному колодцу и черпать оттуда воду, вернее, не воду, а грязную мутную жидкость. Мужчинам ходить по воду не разрешалось. Вода стала очень дефицитной и продавалась по сто рублей за бутылку. К нашему счастью, выпал снег, и мы употребляли его вместо воды.

От ужасающей скученности, голода, отсутствия воды начались массовые кишечно-желудочные заболевания, которые привели к еще большей антисанитарии. Из бараков во двор разрешалось выходить с восьми утра до четырех дня. Всякий, выходивший в другое время, расстреливался на месте. К утру коридоры в бараках были загажены до невозможности. Тогда начиналась уборка коридора руками, так как лопат или веников не было, а немцы угрожали расстрелом, если не будет убрано в течение часа. Утром же производилась уборка трупов, умерших за ночь. Трупы стаскивались в противотанковые рвы, расположенные рядом. Эти рвы через неделю уже были заполнены.

Грабежи и убийства были повседневными явлением. Обычно немцы врывались в комнаты под предлогом поисков оружия и грабили, что им вздумается. При сопротивлении людей вытаскивали во двор и расстреливали. За день до Рождества и Нового года от нас потребовали, чтобы мы собрали для охранявшего нас караула продукты для устройства вечеринок, деньги на покупку водки. Нищие, полуголодные люди отрывали от своих детей последний кусок сахара или сала и отдавали грабителям на устройство вечеринок. Мало этого. Почти ежедневно гитлеровские негодяи требовали, чтобы им доставляли то часы, то отрезы дорогой мануфактуры. Требования эти выполнялись, так как подкреплялись угрозой расстрела.

Было много случаев убийств, например, за переход из барака в барак, за отправление естественной потребности у стенки, а не в уборной, за то, что подобрал щепку, лежавшую за зоной охраны. Ежедневно отмечалось пятнадцать-двадцать подобных убийств невинных людей.

В обстановке голода, холода, грязи, тесноты, абсолютного бесправья и диких убийств прожил я до 2 января 1942 года. Дней за пять до этого[88] немцы объявили запись на добровольную эвакуацию в Полтаву. Люди были еще до того наивны, что поверили немцам. Записались человек пятьсот, которых погрузили на машины и отправили в неизвестном направлении. При погрузке вещи были уложены в отдельную машину. Когда на последнюю машину не хватило пассажиров, то немцы начали хватать людей из числа провожавших, насильно посадили их в машину и увезли. Судьба «эвакуированных» ясна – их истребили.

2 января 1942 года, в семь часов утра, в коридоре барака, где я жил, раздался крик немецкого часового, приказавшего за десять минут собрать все свои вещи и выйти во двор. Собрав вещи в мешок и вложив в карманы несколько лепешек, я вышел во двор, куда собрались не менее 1000–1200 человек из нескольких бараков. Последовала команда сложить все вещи и мешки во дворе на землю. Затем нас плотным кольцом окружили немецкие часовые и полицаи и повели, объясняя, что эвакуируют в Полтаву. Вышли на шоссе Чугуев – Харьков и пошли в направлении, обратном к городу, между тем как дорога на Полтаву идет через город. Было ясно, что нас ведут не в Полтаву, но куда именно, никто не знал. По дороге мы встречали много немцев, выбегавших из домов и провожавших нас смехом или ехидными улыбками. В двух километрах за последними домами Тракторного поселка нас завернули к яру (оврагу). Весь овраг был усеян обрывками тряпок, остатками рваной одежды. Стало ясно, для чего нас сюда привели. Овраг был оцеплен двойной цепью часовых. У края оврага стояла машина с пулеметами. Когда люди увидели, что их привезли сюда на убой, начались ужасные сцены. Дикие крики оглашали воздух. Некоторые матери душили детей, не желая отдавать их в руки палачей. Появились сошедшие с ума. Были случаи самоотравления. Многие прощались друг с другом, обнимались, целовались, угощали друг друга последними запа-

[88] 27 декабря 1941 г. См.: *Энциклопедия*… С. 1028. – *И. А.*

сами. Иные вынимали из карманов ценности, ломали их, втаптывали в снег, деньги рвали, ножами резали на себе верхнюю одежду, лишь бы она не досталась убийцам.

От стоявшей колонны немцы стали палками отгонять вперед шагов на сто группы по пятьдесят-семьдесят человек и принуждали их раздеваться до белья. Стоял мороз в двадцать – двадцать пять градусов. Раздетых гнали в глубину оврага, откуда время от времени раздавались взрывы и слышалась трескотня пулеметов[89].

Я стоял в полном отупении и не заметил, как за мною раздались крики и немцы палками стали гнать вперед на раздевание ту группу, где находился я. Я пошел вперед, готовый через несколько минут умереть. Но тут оказалось следующее: стариков и инвалидов немцы привозили на место казни в машинах. В эти машины грузились вещи убитых, которые отвозились в город. Я проходил сзади одной из таких машин. В машине находилось два молодых еврея, которых немцы поставили на погрузку вещей. Я мигом вскочил в машину и попросил ребят забросать меня вещами. Сами они затем тоже спрятались среди вещей. Когда машина была загружена, немецкие шоферы завели ее, и таким образом меня и двух ребят вывезли из ужасного оврага. Через час езды нас привезли во двор гестапо, где при разгрузке машины нас обнаружили.

Во дворе вещи складывались под новопостроенный навес. Впоследствии я узнал, что вещи были рассортированы и отправлены в Германию.

После разгрузки нас заперли в машине и повезли обратно в овраг. В пути нам удалось бесшумно вынуть оконную раму. Первым выпрыгнул из машины я. Падение оказалось удачным. Я получил очень сильные ушибы, но кости оказались целыми. При падении потерял сознание, но, очевидно, кто-то оттянул меня с дороги и привел в чувство. Я отправился к жене (она не еврейка и оставалась с приемной дочерью в городе), которая спрятала меня у своей подруги, у которой я прожил шесть с половиной месяцев[90]. Четыре месяца я блуждал затем по деревням по подложному паспорту и, таким образом, дождался 16 февраля 1943 года, когда Харьков был в первый раз освобожден Красной Армией от оккупантов.

Страницы из Данте
Из дневника жительницы Харькова Н. Ф. Белоножко

[…] 15 декабря 1941 года свыше десяти тысяч евреев были согнаны в район харьковского Тракторного завода; в январе все они были расстреляны возле Рогани. Уцелели только те, кто успел убежать или скрывался под чужими фамилиями. Одна из жительниц Харькова, Н. Ф. Белоножко[91], вела краткие записи. Мы сохраняем их во всех подробностях трагической документальности. «Я увожу туда к отверженным селеньям, я увожу туда, где вечный стон, я увожу к погибшим поколеньям». Эти слова из Дантова «Ада» могли бы стать эпиграфом к приводимым записям скорби[92].

По улицам города носится сердитый ветер. Он раскачивает трупы повешенных, срывает с домов обрывки грозных приказов… «За оказание помощи партизанам – смертная казнь»… Смерть, смерть. Всюду смерть.

В эти страшные дни по пустынным улицам переезжаем мы из разбитого дома в новую квартиру по Сумской улице. В нем живет много народа, но я его еще не знаю. Все сидят

---

[89] В Дробицком Яру погибло около 9 тысяч евреев. См.: *Энциклопедия*… С. 1028. – *И. А.*

[90] В письме И. Г. Эренбургу автор сообщал: «Моя жена и приемная дочь в течение девяти месяцев, рискуя жизнью, скрывали меня, делились со мной последним куском хлеба в условиях ужасного голода» (д. 960, л. 63). – *И. А.*

[91] До войны окончила институт. Жена военнослужащего. Сведений о ее судьбе в фонде ЕАК нет. – *И. А.*

[92] В фонде ЕАК (д. 941, лл. 11–15) хранится машинописная копия без указания автора, которая должна была в «Черной книге» стать первой частью очерка о Харькове. Но в окончательный текст вошел лишь очерк И. Г. Эренбурга «Что я пережила в Харькове». – *И. А.*

по квартирам напуганные. По комнатам бродят немцы и забирают все, что понравится. У нас в комнате собрались жильцы, их было много, и все женщины. Вот сидит красивая девушка Рива с большими черными глазами, цвет лица ее матовый, волосы изящно уложены на голове, голос приятный, гортанный. Возле нее маленький кругленький мальчишечка двух с половиной лет, это Шурик. У нее еще две сестры – Софа, девочка, и Маргарита, постарше, лет двенадцати, со строгим лицом и такими же большими глазами, как у сестры. Их мать умерла. Рассказывают о брате, он в Красной Армии. Окончил в Москве Академию. Где-то он сейчас? Пугливо прислушиваются к стукам. Лучшие вещи у них уже забрали немцы, что же будет дальше? В квартире живет еще семья Гершельман. Мать и две дочки. Мать – прекрасная пианистка, работала в консерватории. По вечерам, при коптилке, она читает, а девушки шьют. Дочери, Шура и Соня, с высшим образованием. Соня приехала из Львова, где заведовала библиотекой. Я живу с мамой. Муж мой в Саратове, на военных курсах. Мне уехать не удалось, все ждали, что он за мной приедет… Зима в этом году началась люто. Печек ни у кого не было. Дров тоже. Я уже работаю в столовой. Сегодня борщ из мерзлых бураков без хлеба, затем пошел казеин, что-то белое, клейкое, противное, вроде резины. Для чего он – не знаю до сих пор. Говорят, использовался в самолетостроении. Целый день мерзну в столовой, крики; казеина не хватает. Люди мрут у дверей. Я пока живу: могу съесть несколько порций казеина и еще принести немного домой, а дома с каждым днем все хуже. Печка в кухне еще тлеет, рубят на топливо мебель. Печка облеплена жильцами.

Люба и Вера делают спичечные коробки. Сто коробок – стакан отрубей. Коптилка едва тлеет. Девочки Мордухаевы сидят на полу у печи. Они молчат. Вечеру нет конца. На другой день работница Надя, забрав с собой вещи, идет на «менялку». Возвращается через пять дней вся избитая. Немцы все отняли, остался лишь мешочек с горохом. Надя без конца рассказывала, как в деревне она ела борщ с хлебом. И вот все молодые решают идти с нею. На дворе – стужа, идти не в чем. Рива идет в босоножках и старых галошах. Ушли… Тихо. Я занимаю лучшее место – на плите.

На улицах появились новые приказы – все евреи в двадцать четыре часа должны оставить город. Тянутся страшные процессии. В четыре часа прибегаю домой. В квартире – паника, плач. Дворник заявил, что Мордухаевы должны немедленно очистить квартиру, так как они евреи. Девочки только что вернулись из села, ничего не принесли, все у них отняли, а Шурик требует лепешку. Что делать? Бегу с Маргаритой на Сумскую, 100, в комендатуру, говорю, что знаю Мордухаевых много лет и что они – армяне (знаю немного немецкий язык, так как недавно окончила институт). Удалось. Разрешили остаться, пока достанут поруку. Они остаются, но у них уже нет сил. На работу их не хотят брать, так как они евреи, вслед им кричат «иуд», жить не на что. В их большой комнате, с окнами на север, холоднее, чем на дворе.

Первой в нашей комнате слегла мать Шуры и Сони. Соня ходила в южный поселок, чтобы достать ей молока. Она медленно угасает. И вот в нашей квартире стоит первый гроб из шифоньера.

Вечерами на кухне все со страхом смотрят на свои ноги, давят их пальцами – не опухли ли? У Сони и Нюры ноги сильно опухли, а девочки Мордухаевы просто тают. Они совсем как восковые. Не причесываются, не умываются, варят что-то из картофельных очисток и снега и тут же едят еще сырое. Люди живут продажей вещей, у них же продавать нечего. По квартире ползают вши, они всюду. Софа и Нюра слегли. Лежит и Шурик. Он уже не плачет и даже не хочет есть суп, который я приношу из столовой. В квартире – второй труп, умерла Нюра, а затем через неделю не стало Ривы. Маргарита ходит просить милостыню, она шатается от слабости, глаза у нее дикие, я не могу без ужаса вспоминать эти глаза. Она падает, поднимается и снова падает. Ей надо кормить Шурика и Софу. Она – старшая, ей двенадцать лет. Софа и Шурик громко кричат из комнаты, они требуют у нее есть. В комнате вонь и

грязь, жутко зайти. Все еще работаю в столовой. Холод адский, суп замерзает в тарелках. Терплю – жить надо.

У нас – новый покойник. Умерла в больнице Соня. У нее потрескались ноги. Инфекция, и она умерла от заражения крови. Похоронили в братской могиле. Больше не с кем вечерами вспоминать прошлое, жизнь до немцев. Не о ком мечтать. Слегла и Маргарита.

Вчера Шурик попросил лепешку. «Мама дала», – говорит, улыбнулся, а к вечеру умер. Маргарита встала через силу и сказала, что Шурика надо отнести к родственникам хоронить. Ходит рваная, страшная. Мороз все крепчает. Шуры нет, ушла в Люботин. Надя тоже ушла в село и не вернулась. Очевидно, погибла. Софа и Маргарита лежат, принесла им суп, но есть не захотели. Просят чая. Какие они страшные. Кожа, кости и огромные черные глаза. Утром заглянула к ним в комнату. Мертвые. Обе мертвые. Софа – на кровати. Маргарита – на полу. Как хоронить? Ходила к бургомистру – говорит: «Евреев не хороним». Они лежат вот уже десять дней. Хорошо, что холодно, но все равно пахнет трупами. Лежат еще двенадцать дней. Наконец забрали их. Надо прибрать в комнате. Пришла женщина Петровна, хочет поднять перину, слышу жуткий, раздирающий душу крик. Под периной, где спала Маргарита, лежит Шурик. Умер ли он тогда, или она его нарочно туда положила, чтобы кончить мучения? Кто скажет? Он пролежал там полтора месяца. Когда же это кончится? Когда?

Так кончаются эти записки.

[1941–1942 гг.]
Подготовил В. ЛИДИН[93]

Гибель евреев Харькова
Воспоминания Нины Могилевской, жены рабочего-автогенщика

[…] Трудно, мучительно вспоминать Харьков… 14 декабря 1941 года… Я и муж мой Яловский, рабочий-автогенщик, шли на рынок: необходимо было обменять что-либо из вещей на еду.

На улице стояла толпа. Люди в тяжком молчании читали объявление, которым немцы сообщали, что все жиды, независимо от пола, возраста, вероисповедания и состояния здоровья обязаны до 16 декабря переселиться в район Лосево за ХТЗ[94]. Обнаруженные вне этой территории будут расстреляны на месте.

На следующий день, вместе с мужем, мы пошли к Тракторному заводу. По улицам тянулась огромная шестнадцатитысячная толпа евреев. Шли молодые, шли старики и старухи, подростки, маленькие дети. Здоровые несли на руках больных.

Рядом с нами пожилая женщина несла на спине парализованную старуху-мать. Впереди нас шла семья: муж, жена и двое маленьких детей. У мужчины была нога в гипсе, он шел на костылях. Было скользко, он несколько раз падал. У ХЭМЗа[95] его пристрелили.

---

[93] Д. 953, лл. 38–42. Машинопись. Очерк открывался вводным текстом В. Г. Лидина: «На главной улице города Харькова стоит великолепный, облицованный гранитными глыбами дом, ныне в нем горит электричество, действует водопровод, поет радио; матери вывозят в колясочках детей на прогулку. Я был в этом доме, когда отступающие немцы вели по городу артиллерийский огонь; когда в мрачном запустении – без стекол в окнах, частично разрушенный бомбой, без света и канализации – дом этот еще хранил страницы человеческих трагедий, произошедших в нем во время пребывания немцев в Харькове. Сотни людей вымирали в его огромных квартирах. Сотни людей жили в этом доме, как в Дантовом аду, встречая смерти как избавительницу от непомерных страданий. Немцы убивали в чудовищных своих лагерях, вроде Майданека: это было прямое убийство. Убивали десятки тысяч людей они медленной смертью, исподволь, день за днем, изобретая и совершенствуя самые мучительные и изощренные способы убийства». – *И. А.*

[94] Харьковский тракторный завод.

[95] Харьковский электромеханический завод.

Было очень холодно. Замерзающие отставали, и, если они оказывались в поле зрения немцев, их убивали.

Еще в самом центре города начались грабежи. Грабили у каждого моста и у каждого места, где колонна идущих замедляла движение. Мало кто донес до Тракторного то немногое, что разрешалось и было под силу взять с собой!

За тракторным заводом нас ожидали бараки. Окна были выбиты, печи разломаны. В комнату размером двадцать – двадцать пять [квадратных] метров набивалось пятьдесят-шестьдесят человек. Бараки запирали. Двери открывались, когда немцы под предлогом поисков оружия приходили грабить. Забирали все: ценности, одежду, еду.

Люди умирали от голода и холода; раньше других – старики и дети. Но все это известно от других очевидцев.

Я расскажу о себе, о своем горе.

25 декабря 1941 года, когда уже было ясно, что нас ждет только смерть, я сказала мужу (он – русский), что ему не следует гибнуть из-за меня, он должен уйти домой. Муж не согласился, и я обещала ему, что убегу.

В одном бараке со мной находилась девушка по имени Маруся. Ее муж, тоже русский, был на фронте. Я уговорила бежать и ее.

На территории бараков не было воды. В воде нуждались и немцы. Они посылали женщин по воду к колонке, находившейся на расстоянии трех километров от бараков.

27 декабря, уйдя по воду, мы не вернулись в бараки. Убедившись, что за нами не следят, мы пошли в сторону деревни Каплиневки, где жили родители мужа моей новой подруги. Сто десять километров в холод и стужу, плохо одетые (все теплые вещи забрали немцы) шли мы, нигде не останавливаясь.

В деревнях нам подавали, но оставаться ночевать – мы боялись. Так шли мы днем и ночью… все шли и шли…

Родители мужа Маруси – Сердюковы, нас хорошо встретили, накормили. Сердюков сказал, что если у нас есть деньги, то у коменданта можно купить документы и тогда жить безбоязненно.

Но денег у нас не было. На следующий день по приходе в Каплиневку я вспомнила, что в семи километрах от этой деревни живет дядя моего мужа. Я решила у него попросить помощи и предложила Марусе пойти со мной. Но она, измученная нашими скитаниями, решила остаться у тестя.

Я ушла. Денег я не получила и в тот же день вернулась в Каплиневку. Подходя к деревне, я увидела толпу. Я сделала еще несколько шагов и увидела Марусю, висящую на перекладине. На ней висела табличка с надписью «Болшевичка та жидовка».

Как потом выяснилось, ее выдал свекор – Сердюков.

Я вернулась к родным мужа. И хотя меня искали, дядя меня не выдал. Его вызывали в комендатуру, избивали, требовали, чтобы он сказал, куда я делась, но он молчал. А я по целым дням сидела в погребе и только ночью приходила в хату.

Я была беременна. Приближалось время родов. Рожать здесь было немыслимо. Крик ребенка мог быть услышан случайно зашедшей соседкой. Я не хотела быть причиной гибели людей, так мужественно приютивших меня. Ночью я ушла в Харьков.

Трудна была дорога до Харькова, но в Харькове – еще труднее. Почти на каждом углу стояли полицаи, проверявшие документы. Я пряталась в подъездах зданий и три дня пробиралась через город на Холодную гору, где жили родители моего мужа.

Мне сказали, что муж мой ушел в партизанский отряд. Старики, зная, что это угрожает им смертью, все же приняли меня. Через несколько часов я родила мальчика.

Соседи догадывались, что я вернулась, и хотя среди них не было негодяев, могущих выдать меня и моего ребенка, – оставаться было опасно. Через две недели с ребенком и

метрическим свидетельством на имя Яловского Валентина, на которое в нужных местах я налила несколько капель чернил, – я ушла из Харькова искать работы и пристанища.

Я была с ребенком: меня везде пускали ночевать. Иногда разрешали искупать ребенка, но утром надо было уходить, и конца моим скитаниям не было видно.

Я была уже близка к отчаянию, когда мне сказали, что в Пархомовке в свеклосовхоз «Экономию» принимают рабочих. Но надо обращаться к «пану», а «пан» бывает ежедневно на станции у мотовозов.

Весь день ждала «пана» – не дождалась. А на другой день, уже плохо соображая, я подошла к линии, чтобы броситься с ребенком под мотовоз. Вдруг меня кто-то дернул за плечо: «Стоп, ты куда?» – спросил меня по-городскому одетый человек. «Я голодна, ребенок погибает, работу не могу найти». Последовали вопросы – откуда я, где муж и так далее. Все это уже было привычным, и я отвечала, как всегда.

– Ты – городская, а работа у нас тяжелая.

– Я справляюсь со всякой работой.

«Пан» посадил меня в бричку, и мы поехали. Нас встретила «пани».

– Смотри, – сказал ей пан, – какую Катарину с котомкой за плечами и ребенком на руках я подобрал.

Пани процедила:

– Ты вечно со своими фантазиями.

Пан посмотрел на меня и смущенно сказал:

– Она, кажется, под мотовоз хотела броситься. В страдании лицо ее было прекрасным.

Этой фантазии пана я обязана тем, что, несмотря на неясность моих документов, я получила работу и пристанище.

Работа была очень тяжелая, а мне, горожанке, она казалась еще тяжелее.

Ребенок был все время со мной. Лежит на тряпье неподалеку от меня, а я не могу оторваться от работы, подойти накормить его.

Умер у меня сын. Я продолжала работать машинально и тупо, вызывая нелюбовь и раздражение окружающих.

К концу лета пришел мой муж. Он попросился на работу, и его приняли. Через несколько дней у одного из немцев на огороде выкопали несколько кустов картошки. Кто-то сказал, что это я для мужа. Нас вызвали к коменданту. Меня избили до потери сознания. Рубцы на теле останутся навсегда. Потом нас повели на расстрел.

Не удивляйтесь: за катушку ниток, за папиросу, украденную у немцев, убивали и старых и малых.

Идем мы, а я думаю – видно судьба моя умереть от руки немецкого палача. И зачем я столько боролась за свою жизнь! Хорошо, что сын умер, и ему легче.

Вдруг видим – к коменданту подошла женщина – молодая, красивая, жившая у него уже несколько дней. Она о чем-то с ним говорила, и мы услышали:

– Ну, конечно, это не они. Я их хорошо знаю. Это очень честные люди.

Что потом было, не помню. Знаю только, что нас отпустили. Я бросилась на колени перед этой женщиной, а она погладила меня по голове и шепнула:

– Успокойся, я такая же, как и вы.

Я думаю, что она была партизанка.

Как хотели бы мы с мужем увидеть нашу спасительницу, даже имени которой мы не знаем!

Муж вскоре ушел обратно в отряд, а я пробыла в «Экономии» до первого прихода наших войск.

Мне теперь двадцать два года, но горя в жизни я повидала столько, что его с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней.

Впрочем, я ведь не одна!

Записал Савва Голованивский[96]

Танки давили людей
Расправа с евреями – мирным населением и военнопленными – в городе Дебальцево

Гитлеровцы в своих жестокостях дошли до предела бесчеловечности. Они зверски умерщвляют народы временно оккупированных советских районов.

Ужасом веют рассказы людей, случайно вырвавшихся из фашистского ада.

Не без содрогания, с неудержимым гневом в сердце к фашистским выродкам, я слушал рассказ выбравшегося из оккупированного немцами украинского города Дебальцево[97] советского гражданина Каца М. Ю.

Вступив в город, эта разбойничья банда, учинила поголовное ограбление населения. Отбирали все, что попадалось под руку. Не гнушались даже детскими игрушками и старым тряпьем.

Все еврейское население взяли на учет и под угрозой расстрела заставили носить белую повязку на левом рукаве. Вскоре началась кровавая расправа с беззащитными стариками, детьми и женщинами – евреями. Однажды ночью пьяная банда немцев в тех домах, где проживало еврейское население, устроила страшный погром. Они врывались в дома мирных людей, избивали и убивали. Стон, предсмертные крики долго стояли в ту ночь в воздухе.

Оставшихся от расправы евреев они погрузили на машины и, как потом стало известно, их за городом расстреляли.

В другой раз немцы, после очередного погрома, на грузовых автомашинах свезли большую группу евреев в противотанковый ров, где начали с ними зверски расправляться. Мужчин, женщин и детей раздевали догола, избивали и полуживых бросали в ров, засыпали их соломой и поджигали.

Грудных детей отнимали от матерей и живыми бросали в огонь. Молодежь подвергали медленным пыткам. Вначале им отрезали нос, пальцы, руки, ноги. Другую большую группу евреев под видом заключения в концентрационный лагерь загнали на площадку, огороженную колючей проволокой. Люди, не понимая, что с ними хотят сделать, с ужасом смотрели на кровавые приготовления палачей. Немцы с тупым хладнокровием убийц на всем ходу пустили в обезумевшую от страха толпу людей танки. Танки своими гусеницами давили людей, стреляли из пушек, пулеметов.

Другой советский гражданин, бывший в плену у немцев, очевидец их зверств, товарищ Никулин мне рассказал:

Гитлеровские охранники с пленными красноармейцами творят неслыханные издевательства. Как правило, они евреев-бойцов отделяют от других красноармейцев. Тот каторжный режим постепенной смерти, который они установили для пленных, к евреям они применяют в полном объеме.

Мне приходилось наблюдать ужасную сцену зверского отношения к евреям-бойцам.

Однажды, ради потехи, пьяные гитлеровские тюремщики вывели двух евреев и под угрозой оружия заставили их ползать на четвереньках и лаять по-собачьи и мяукать по-кошачьи. Немцы тут же стояли и цинично смеялись, заставляя наблюдать эту нечеловеческую сцену и других пленных.

---

[96] Д. 961, лл. 24–29. Машинопись.

[97] Ворошиловградской (ныне Луганской) области.

В следующий раз они заставили двух истощенных и измученных чуть живых евреев драться друг с другом, и, когда они стали сопротивляться, палачи избили и пристрелили их.

Так гитлеровские мерзавцы расправляются с еврейским населением.

А. Иванов
[1944]
Рассказы М. Ю. Каца и Никулина
Записал А. Муровский[98]

Братская могила десяти сирот в степи

У самой железнодорожной станции Купянск, на пути из Харькова в Донбасс, возвышается небольшой «курган». Под ним покоятся останки десяти еврейских сирот, погибших от немецко-фашистских снарядов два с половиной года назад во время эвакуации их полтавского детского дома. В течение всего времени пребывания здесь немцев местные жители обманывали их, говоря, что это – «курган» издавна. Оккупанты поэтому не разрыли горку. Когда Красная Армия освободила Харьков и Донбасс, из далекой Алма-Аты, где находится эвакуированный полтавский детский дом, прибыла делегация от воспитателей и детей детдома и с помощью органов восстановленной советской власти поставила на братской могиле превосходный памятник с начертанными именами погибших детей. Вот их имена: Иосл Лернер, родился в Люблине, двенадцати лет; Рива Ридерман, родилась в Люблине, десяти лет; Велвл Моргенштейн, родился в Хрубишове, двенадцати лет; Мотл Хайкин, родился в Варшаве, девяти лет; Мойше Вайнберн, родился в Кельцах, десяти лет; Гершл Фишбейн, родился в Кельцах, двенадцати лет; Монек Гершман, родился в Варшаве, двенадцати лет; Малка Типовицкая, родилась в Холме, девяти лет; Мойше Гроссман, родился в Кракове, одиннадцати лет; Исаак Айзиксон, родился в Кракове, десяти лет…

Все они дети польских евреев. В конце 1939 года родители их бежали из разрушенной Польши на восток. Родители погибли в пути, а детей приютила советская власть. Вместе с сотнями других детей беженцев их отправили в Полтаву в хорошо организованный детский дом. Но и здесь кровавый враг – немецкий фашизм настиг их. Детский дом в полном составе и полном порядке был эвакуирован специальным поездом на восток. На пути, у станции Купянск, поезд атаковали гитлеровские аэропланы, которые снизились и обрушили на поезд с детьми смертоносный огонь. Десять[99] детей пали мертвыми; многие были ранены. Мертвых спешно похоронили у станции. Детские руки засыпали могилу и образовали «курган». Поезд пошел дальше под специальной охраной советских самолетов. Полтавский детский дом нашел приют в Алма-Ате. В делегации, прибывшей из далекого Казахстана в Купянск, находятся также две сироты, получившие тогда ранения, – двенадцатилетняя Рива Бернштейн из Бриска и тринадцатилетний Мотеле Зальцман из Варшавы. От имени своих сотен товарищей, воспитывающихся сейчас в Алма-Ате, Рива Бернштейн и Мотеле Зальцман почтили братскую могилу детей и возложили на нее венок.

У края степи, у самой станции Купянск возвышается курган-могила. Он будет вечно напоминать о зверствах гитлеровских бандитов, немецко-фашистских детоубийц.

---

[98] Д. 953, лл. 318–320. Машинопись с правкой и подписью А. Иванова. Над текстом фамилия А. Муровского, под текстом – его же адрес, записанный рукой А. Иванова, который редактировал текст.

[99] В тексте ошибочно: одиннадцать.

[1944]
Записал Н[афтали] Г[ерцевич] Кон
Пер. – Д. Маневич[100]

Уничтожение евреев Мариуполя
Дневник Сарры Глейх

101

[100] Д. 950, л. 281–281 об. Машинопись с правкой переводчика.

[101] Д. 961, лл. 65–90. Машинопись. Сокращенный вариант дневника за 8–23 октября см.: д. 944, лл. 44–54 (с ред. правкой). Сарра Глейх – чертежница из Харькова (в тексте, а также в воспоминаниях И. Г. Эренбурга она ошибочно названа студенткой), эвакуировавшаяся после начала войны в Мариуполь. Подлинник своего дневника («розовая школьная тетрадь») автор направила в годы войны Эренбургу (Эренбург И. Г. *Собр. соч*. В 9 тт. Т. 9. М., 1967. С. 413–414). После войны С. Глейх жила в Подмосковье. Умерла в Москве в конце 90-х гг. Сокращенный текст дневника (записи с 8 по 23 октября 1941 г.) опубликован в «Черной книге». Сверено с оригиналом и машинописной копией в архиве Эренбурга (Р. 21.1/63, лл. 1–45; автограф – лл. 1–27), восстановленные фрагменты – в квадратных скобках. – *И. А.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.